



Лорд
Актон

**ОЧЕРКИ
СТАНОВЛЕНИЯ
СВОБОДЫ**

**ОЧЕРКИ
СТАНОВЛЕНИЯ
СВОБОДЫ**

Lord Acton

(John Emerich Edward Dalberg-Acton)

**THE HISTORY OF FREEDOM
AND OTHER ESSAYS**

Translated by Yuri Kolker

Edited by A. Babich

With an Introduction by Owen Chadwick

Overseas Publications Interchange Ltd

London 1992

Лорд Актон

(Джон Эмерик Эдвард Дальберг-Актон)

ОЧЕРКИ СТАНОВЛЕНИЯ СВОБОДЫ

Перевод Юрия Колкера
под редакцией А. Бабича
Предисловие Оуэна Чадвика

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1992

Lord Acton: OCHERKI STANOVLENIIA SVOBODY
Translated from English by Yuri Kolker
Edited by A. Babich
With an Introduction by Owen Chadwick

First Russian edition published in 1992
by Overseas Publications Interchange Ltd.
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Russian edition
Overseas Publications Interchange Ltd, 1992

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 43 5

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Great Britain
by J. W. Arrowsmith Ltd, Bristol

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие О.Чадвика	7
-----------------------------	---

Очерки

История античной свободы	33
Свобода в христианскую эпоху	67
Национальное самоопределение	102
Об изучении истории	139
Происхождение современного государства	174

Приложения

От переводчика: Тема и метод	201
Указатель имен	204

ПРЕДИСЛОВИЕ

Профессор О. Чадвик

В этой книге собраны некоторые из лучших работ одного из самых замечательных и своеобразных мыслителей девятнадцатого столетия. Перед вами предстанет знаменитый историк, не написавший ни одной книги; политический философ-либерал, большую часть своей жизни бывший членом британского парламента, но едва ли когда-либо присутствовавший на его заседаниях и не имевший никакого веса в его дебатах; прославленный католик, взбунтовавшийся против папы; автор, настойчиво твердивший в своих сочинениях о необходимости беспристрастия и непредвзятости в истории — и вместе с тем не только видевший историю глазами столь необычного для той поры католического либерального демократа, но и прямо подчас отходивший, как об этом можно теперь с уверенностью сказать, от им же самим проповедовавшихся принципов беспристрастия; наконец, знаменитый моралист, не особенно интересовавшийся учением писавших о нравственности философов. Мы вправе были бы ожидать, что этот автор оставил нам лишь разнородный набор случайных журнальных обзоров и статей, не имеющих сколько-нибудь долговременной значимости.

Читатель увидит, почему, несмотря на все перечислен-

ные здесь невыгодные для него свойства, этот мыслитель продолжает восхищаться явившиеся после него поколения. Дав себе труд разобраться в разнородной смеси его сочинений, пробившись через туманные и вместе с тем волшебные словесные напластования, читатель разглядит основные положения истории, нравственности и политического права, проникнутые человечностью, изысканной утонченностью, острой наблюдательностью, теплотой и тревогой, по временам волнующие и воодушевляющие. Примером может служить помещенная в этой книге знаменитая лекция Актона *Об изучении истории*, которой он ознаменовал свое вступление в должность профессора в Кембридже. Многие критики находили ее многословной, загадочной и ничего не дающей для понимания предмета. Но все же она и по сей день завораживает всякого, кто изучает истоки и рост европейского исторического идеализма. Притом происходит это не благодаря включенным в нее подробным примерам, хотя справедливо и то, что она построена на основе редкого владения колоссальным историческим материалом, а благодаря глубоким ассоциациям, благодаря скрытому присутствию той властительной философии, которая делает изучение истории самой сущностью гуманитарного осмысления мира.

Джон Эмерик Эдвард Дальберг-Актон родился 10 января 1834 года в Неаполе, в семье английского помещика католического вероисповедания, сэра Ричарда Актона. Семья имела тесные связи с Италией, родной брат сэра Ричарда был кардиналом Римской курии. Еще более важным для развития молодого человека обстоятельством явилось то, что его мать, Мари-Луиз Пеллини де Дальберг, происходила из немецкой семьи, взявшей в начале века сторону Наполеона в его попытках преобразовать Германию, так что представители этой фамилии воспринимались в Германии как носители французских либеральных идей законности и равенства. До шестнадцати лет будущий историк учился в английском колледже в Риме, а с 1850 по 1854 год — в Мюнхенском университете, которому и обязан лучшей частью своего образования. В Мюнхене Актон слушает лекции профессора И. фон

Доллингера, учеником и последователем которого становится. Он приходит к убеждению, что развитое чувство истории необходимо каждому цивилизованному человеку. С той поры Актон любил повторять поговорку: «Те люди не станут думать о грядущих поколениях, которые не вспоминают о предшествовавших.»¹

К двадцати годам он сформировался в весьма необычного молодого человека: был скорее европейцем, чем англичанином, а от католиков, в те годы выступавших против религиозной терпимости и державшихся правых политических взглядов, отличался либерализмом и страстной приверженностью идее терпимости. Тем не менее он оставался англичанином и дорожил этим. В Англии он нашел либеральное общество, вызвавшее у него восхищение и патриотический подъем. Европейское воспитание не мешало ему видеть в англичанах людей трудолюбивых, ответственных, сдержанных, обладающих крепким и здоровым характером.²

Начиная с 1858 года Актон сотрудничает в католических изданиях и редактирует некоторые из них, — причем его усилия направлены в основном на то, чтобы убедить современных ему католиков в правоте либеральных идей. Однако это было время, когда Рисорджименто все более теснило папу Пия IX, вследствие чего папа был непримиримым противником либерализма. Понятно, что занятая Актоном позиция навлекла на него гнев церковной администрации. Между тем среди написанных им в эти годы случайных статей для периодических изданий имеются настоящие перлы, принадлежащие к числу лучших работ Актона. Некоторые из них, ставшие впоследствии знаменитыми, включены в настоящее издание.

Кульминацией этого крестового похода либерализма внутри церкви стал 1870 год, когда Актон оказался в числе

¹ Fears 1, 464. — Полная ссылка на эту книгу приведена в *Избранной библиографии*, приложенной к *Предисловию*.

² Fears 1, 53; см. стр. 100 настоящего издания.

тех, кто возглавил борьбу против официального провозглашения непогрешимости пап в вопросах веры и нравственности. Борьба закончилась поражением либералов, и с этого времени Актон уже не возобновлял попыток как-либо повлиять на состояние дел в католической церкви своей эпохи.

Он вновь обратился к изучению истории. С середины 1870-х годов, благодаря тому доверию, которое испытывал к нему вождь британской либеральной партии Уильям Гладстон (именно Гладстон в 1869 году побудил королеву Викторию возвести Актона в достоинство лорда), Актон становится влиятельной закулисной фигурой в политической жизни страны; не обладая никаким публичным влиянием в парламенте, он в частном порядке исподволь направлял либерального премьер-министра в сторону своих нравственных и демократических представлений.

Две помещенные в этой книге лекции по истории свободы были прочитаны в Бриджпорте в 1877 году. Им надлежало, по замыслу Актона, стать первыми главами грандиозной всеобщей *Истории свободы*. Впрочем, он едва ли мог бы завершить подобную работу, и не только по причине неохватности предмета, но и потому, что был слишком погружен в чтение и попросту не располагал достаточным временем для писания. Английский язык Актона, — быть может, отчасти потому, что историк был англичанином лишь наполовину, — тяжел для чтения и понимания. Читатель переводов не раз улыбнется над закругленностью фразы Актона, над напыщенностью некоторых фрагментов его витиеватой прозы. Он встретит по временам предложения столь непрозрачные, что впору задаться вопросом о том, что они означают. Однако эта стилистическая особенность искупается торжественной приподнятостью речи, в точности соответствующей своему назначению и прекрасно передающей убеждение Актона в том, что лишь история, проникнутая нравственным чувством, достойна рода человеческого и способна служить его процветанию. В 1895 году Актон становится *профессором по королевскому назначению* (Regius Professor) Кембриджского университета по курсу новой истории и остается им до своей

смерти в 1902 году. Еще в самом начале своей карьеры Актон выработал для себя и усвоил три основных положения, определившие строй всех его последующих работ. Первое из них состоит в том, что в политике необходимо постоянно отстаивать принципы справедливости и добродетельности. Политика означает компромисс. В ней нам приходится выбирать наименее худшую из возможностей, понимая ее как наилучшую и практически осуществимую. Добродетель отрицает компромисс, поэтому мы должны принимать решения, исходя из их справедливости и оставляя практичность на ее собственное попечение. Эта проблема напряженности между практическим здравомыслием в политике и всяким подлинным политическим идеалом постоянно занимала его мысль. Ему не давал покоя вопрос, справедливо ли высказывание древнегреческого философа Хрисиппа о том, что в политике невозможно одновременно угодить и богам, и людям.¹

Его обостренное нравственное чувство всегда ставило его на сторону идеала. В его исторических занятиях это свойство не оборачивалось слепым предпочтением, но делало историка в высшей степени нетерпимым по отношению к современным государственным и церковным деятелям, в которых он видел и осуждал сторонников компромисса; так, Актон не хотел слышать ни слова похвалы в адрес основного соперника Гладстона, консервативного премьер-министра Дизраэли. В истории Актон видел нравственное начало и совесть рода человеческого, утверждал, что если всем этим эксплуататорам и убийцам порою и удастся до конца своих дней преуспевать и процветать, то конечная их судьба далека от преуспевания, ибо история неизменно возвращает человечеству всю их подноготную.

Предметом особого внимания Актона была *истина*. Это слово теряет всякий смысл, если люди перестают говорить правду, — между тем сторонники необходимости в политике могут утаивать ее, прикрывать дезориентирующим языком пропаганды и даже говорить откровенную ложь, оправдывая

¹ Fears 1, 64.

себя тем, что она служит интересам государства. Призыв к открытому государству был для Актона основополагающим моментом в поисках нравственной системы управления.

Второй из аксиом Актона было то, что нам следует постоянно бороться за свободу государственную и церковную. Переживающие кризис государства сосредоточивают в своих руках все больше власти, причем эта жажда власти возрастает до тех пор, пока власть центра не становится абсолютистским режимом полицейского государства. Самое известное высказывание Актона сводится к одной короткой фразе: «Всякая власть развращает; абсолютная власть развращает абсолютно.»¹ Это свое убеждение Актон формулирует и в первом из помещенных в настоящем издании очерков: «Обладание неограниченной властью разъедает совесть, ожесточает сердца и лишает способности отчетливо мыслить.»

В возрасте 22 лет Актон отправился в Россию для того, чтобы присутствовать на коронации Александра II. На русских он произвел впечатление широтой своих знаний и взглядов, сам же проникся ненавистью к увиденной там деспотической системе власти, хотя и не уставал восхищаться тем, как русские, во всяком случае на первый взгляд, приспособились жить под гнетом деспотизма. Ему понравилась сестра царя, великая княгиня Мария. Он с одобрением отозвался о «явном благоволении», с которым русская императорская фамилия относилась к православной церкви.² Он не считал невозможным установление в России конституции, гарантирующей свободы; такая перспектива представлялась ему осуществимой, ибо о русских он отзывется как о людях нравственных, то есть обладающих той нравственной основой, без которой немислимы демократические установления. Вместе с тем он нашел строй мыслей русских той поры незрелым и заключил, что им не хватает тех рассудочных качеств,

¹ Letter to Bishop Mandell Creighton, 3 April 1887; in: L. Creighton, *Life and Letters of Mandell Creighton*, 1904, i, 372.

² *Essays*, The Catholic Press.

которые позволили бы им организовать и поддерживать свободное общество.¹ С восхищением отзывается Актон об одной странной особенности столь автократического общества: в нем господствовала вера в то, что русское правительство в меньшей мере вмешивается в церковные дела, чем правительства многих западных протестантских стран. Но понимания православной церкви Актон не обнаружил; он составил себе весьма низкое мнение о русском богослужении, которое показалось ему «ограниченным», о его ритуальных торжествах и об уровне русского духовенства.² Он также заметил или пришел к заключению на основе рассказов других наблюдателей, что несмотря на нравственность русского общества администрация империи коррумпирована. При этом, вместо того, чтобы счесть эту подмеченную коррупцию мелким и несущественным недостатком, он увидел в ней то преломление явного абсолютизма государства, с помощью которого общество на деле умудряется оказывать ответное воздействие на чиновный мир.³

Со временем Актон заметил также, сколь мало русское правительство, претендующее на всю полноту абсолютной власти и авторитета, на деле заботится о народе; он увидел, что следствием этого стало оживление местных общин, предпринимавших первые шаги к самоорганизации, и эта вынужденная самодеятельность местных властей была, по его мнению, одновременно и здоровой, и уменьшающей влияние деспотизма.⁴ Иначе говоря, он увидел в России зачаточные формы местного самоуправления. Однако путь его развития представился Актону вредоносным: коммунистическим; по его мнению, идея личной свободы не могла здесь восторжествовать и утвердиться без уничтожения всей системы. «Коммунистическая система на деле столь же губительна экономически, сколь и политически... Личная свобо-

¹ Cf Fears 3, 600 from Add Mss. 5528, 43.

² From: Döllinger on the Temporal Power, in Fears 3, 95.

³ Hist. of Freedom in Antiquity, in Fears 1, 7; см. стр. 35-36 наст. издания.

⁴ Report on Current Events 1860, in Fears 1, 509.

да невозможна без личной собственности.»

В первой из лекций Актона по истории свободы¹ содержится ставшее знаменитым высказывание о том, что судьбу швейцарца, заведомо лишённого надежд оказать влияние за пределами того скромного кантона, гражданином которого он является, он предпочёл бы судьбе гражданина *великолепной* Российской империи со всеми её европейскими и азиатскими владениями, потому что первый, в отличие от второго, свободен.

Это предпочтение демократических режимов не имело под собою опыта, связанного с Соединёнными Штатами. Актон посетил эту страну в 1853 году и вынес о ней весьма пренебрежительное мнение. Спустя пять лет он все ещё не видел больших достоинств в американской конституции, находя американское государственное устройство столь же несовершенным, как и российское: в России, по его мнению, правительство было слишком абсолютистским, в Америке — слишком народным.² Но в свои зрелые годы он обратился к Американской революции с иными мыслями: увидел в ней начало новой эпохи истории Земли. Все прежние попытки установления демократии завершились теми или иными формами тирании большинства над меньшинствами. Но в этой стране, считал Актон, демократия положила пределы даже верховной власти народа и сумела поставить под защиту права меньшинств. Америка произвела на свет две идеи, которые старой Европе было очень не просто принять: во-первых, что революция может быть актом справедливости и способствовать творению справедливости; и во-вторых, что конституция, которая пытается вручить управление народу, прежде всегда рассматривавшаяся как небезопасная, ибо она подразумевает передачу власти в руки невежественных и продажных избирателей, может при некоторых условиях обеспечить надёжные основы для организации государства без того, чтобы его правительство утратило эффективность

¹ см. стр. 33.

² Acton to Simpson 16 February 1858; in: Letters to Simpson, 1, 8-9.

или справедливость. В итоге он пришел к выводу, что американская конституция представляет собою «самое величественное государственное устройство в истории человечества»¹, и адресовал свое восхищение этим устройством автору проекта конституции Соединенных Штатов Александру Гамильтону.

Предпочтение, оказанное Актоном свободной конституции, не было основано на восхищении образцами французской демократии. Свободная конституция должна обеспечить стабильность, между тем во Франции всего за три четверти столетия произошло целых четыре, а по другому счету и пять революций. Настоящая конституция должна быть составлена так, чтобы исключить всякую необходимость в революции, иначе говоря, она должна предусматривать все необходимые средства для мирной реорганизации общества. Актон был склонен искать причину неудач французского народа в его нравственной деградации. Французы были достаточно умны для того, чтобы ввести конституцию, достойную свободного народа, но их подвела нехватка необходимого тут нравственного равновесия. Этот взгляд Актона на французов представляется поверхностным.²

Актон считал, что всякое правительство, возникшее на основе самой беспримесной демократии, иначе говоря, а результате прямых всенародных выборов в единственное собрание, обладающее абсолютной верховной властью, с неизбежностью скатывается к тирании, так что все виды беспримесной демократии нуждаются в самоограничении в форме смешанной конституции. Этот урок он вынес из рассмотрения Афинской республики, об устройстве которой идет речь в первом очерке: «Урок, добытый опытом афинян... учит, что всенародная власть, осуществляемая правительством наиболее многочисленного и потому наиболее сильного класса, является злом, соприродным абсолютной монар-

¹ Fears 1, 402.

² Cf Fears 3, 600.

хии, и практически по тем же причинам требует институтов, предохраняющих эту власть от самой себя и устанавливающих высшую власть закона, способную противостоять произвольным поворотам общественного мнения.»

Наконец, третьим принципом Актона было утверждение высшей ценности личности. Все государства хотят, чтобы, по его словам, «пассажиры существовали ради корабля», или, если воспользоваться другой его формулировкой, «предпочитают корабль экипажу»¹. Все правительства должны, ради своего выживания, согласовывать интересы множества людей; достичь этого, то есть обеспечить довольство масс, правительству значительно проще, если оно по возможности не берет в расчет прав меньшинства народа. Некоторые писатели утверждали, что подобно Афинам и другим древнегреческим демократиям современная демократия не может существовать без той или иной формы рабства, поскольку бедой современной демократии является ее тяготение к социализму (коммунизму), то есть системе, которая, по убеждению Актона, подавляет права личности, ибо личные права и свободы в принципе не могут быть осуществлены, если они не предполагают владения частной собственностью. «Народ, питающий отвращение к частной собственности, лишен первого элемента свободы.»² (Но может ли такой народ существовать в действительности? Актон, разумеется, мог лишь вообразить его, исходя из сочинений французских коммунистов-идеалистов типа Бабефа и Прудона; это было по видимости непротиворечивое умственное построение кабинетного теоретика, созданное в отрыве от интересов реальных людей, составляющих человеческое общество, в котором каждому присуще естественное стремление к увеличению своего достатка.) Любые формы рабства, идет ли речь о крепостном праве или о массовом принудительном труде, были абсолютно несовместимы с нравственными принципами Актона.

¹ Fears 1, 18, 400.

² Fears 1, 431.

Историк отдавал себе отчет в том, что уважение властью священных прав личности может затруднить управление государством. Он, кроме того, сознавал, что хотя права человека и уменьшают угрозу свободе, они вместе с тем создают благоприятную почву для тирании большинства. Но слова о законности прав человека, столь часто им повторяемые, были для него отнюдь не только словами, а необходимой основой всякого нравственного государства. Поэтому всеобщее уважение нравственных принципов должно, считал он, обязательно утвердиться и в демократическом обществе, если ему суждено устоять. О древних Афинах он однажды написал следующее: «Недолгое торжество афинской демократии и ее быстрый закат относятся к эпохе, не обладавшей установленными представлениями об истине и заблуждениях... Жизнью правила воля человека, а не воля Бога, так что каждый человек или группа людей имели право делать то, что было им под силу. Тирания не рассматривалась как заблуждение, и со стороны человека было лицемерием отвергать те наслаждения, которые она сулила...» Таков один из его самых сильных фрагментов, выражающих убеждение, что свобода не может долго существовать там, где большинство населения не привержено нравственным принципам и видит в государстве не более чем щит от внешних врагов и преступников или же только силу, обеспечивающую благосостояние за счет централизации валютной системы, торговли и коммуникаций.

Читатель увидит, какую важную роль в развитии этих представлений Актон отводил вкладу античных стоиков: их поискам воли, стоящей над волей большинства общества. Собрание людей заурядных способно единодушно высказаться за решение совершенно ошибочное или полностью безнравственное. Следовательно, существует критерий права, связывающий крайние проявления настроений и порывов народа и независящий от единодушной воли всех голосующих, не говоря уже о воле большинства. Здесь, однако, имеется трудность, преодолеть которую Актон не пытался: для стоиков именно всеобщая совесть человечества диктует нам свои

нравственные принципы, которым должны неукоснительно следовать все законодатели. Так что выходит, что фактически мы знаем об обязанностях государства лишь на основании рассмотрения повелений совести граждан, а эта коллективная совесть может так же точно заблуждаться, как и собрание избирателей.

В своих построениях Актон исходит из предпосылки весьма сомнительной — сомнительной потому, что ей трудно сообщить непосредственное содержание, — именно, что все люди «рождены свободными»¹. Иначе говоря, каждый человек от природы имеет право быть свободным, уже просто в силу того, что он существует. «Ни война, ни деньги, — утверждал стоик Зенон, — не могут сделать одного человека собственностью другого.» Но поскольку никто не обладает действительной свободой, которой должен обладать уже по праву рождения, — то есть человек владеет ею лишь в отвлеченном, абсолютном праве, но не в реальной жизни, — то за свободу необходимо бороться.

Путь к свободе, по мнению Актона, прокладывают усилия разума и совести выдающихся людей. Никто не в состоянии создать свободное общество в одиночку, просто сев за стол и набросав проект его конституции. Конституция свободного общества вырастает в ходе истории, из конкретных обстоятельств народной жизни. «В деле создания свободной формы правления чистый разум столь же беспомощен, сколь и обычай... общество свободных может возникнуть только в результате долгого, многообразного и мучительного опыта.»² На Актона сильное впечатление произвело высказывание шотландского философа сэра Джеймса Макинтоша, вига, известного своим сочувствием Французской революции, которого последовавший за нею террор обратил в одного из самых непримиримых ее врагов. «Конституции, — сказал он, — не делаются: они вырастают.»³ Не законоведы, со-

¹ Fears 1, 24.

² Fears 1, 19; см. стр. 54 настоящего издания.

³ Цитируется в Fears 1, 52.

ставляющие проект конституции, и не политические деятели, пытающиеся отыскать наилучший выход из трудных обстоятельств реальности, представлялись ему действительными творцами свободы. Свобода вытекает из нравственных идей, прилагаемых к политике и конституциям. Потому-то Актон и говорит в первом из помещенных в этой книге очерков, что наше правосудие большим обязано Цицерону и Сенеке, Вине и Токвиллю, чем историческим законоуложениям. По его убеждению обязано оно и древнееврейской традиции, в недрах которой конституция складывалась столетиями, утверждаясь на основе нравственных аксиом, в постоянной борьбе против преступавших их правителей, вырабатывалась на основе «принципа, согласно которому всякая политическая власть подлежит оценке и преобразованию в соответствии с предписаниями закона нерукотворного».

В отличие от некоторых других авторов, Актон не слишком часто говорит о свободе как необходимом условии полноценного формирования и развития человеческой личности, — но чувствовал он это глубоко, о чем свидетельствуют следующие его слова: «Свобода не есть средство достижения более высокой политической цели. Она сама — высочайшая политическая цель. И необходима она не ради хорошей общественной администрации, но для обеспечения безопасности на пути к вершинам гражданского общества и частной жизни.»¹

Он всегда видел, сколь хрупкой собственностью является свобода — «изысканный плод зрелой цивилизации». Он также вполне сознавал, как много у нее врагов. Государствам присуще вступать в войны, а воюющие страны несвободны. Неграмотные люди не могут быть свободными, ибо отданы на милость пропаганды, притом еще, что их собственные суеверия и предрассудки лишают свободы других людей; так религиозные большинства все еще преследуют и ограничивают в правах представителей других вероисповеданий, находящихся среди них в меньшинстве. Голодающий народ то-

¹ Fears 1, 22; см. стр.58.

же едва ли может быть свободен, поскольку хлеб для него важнее свободы, и человек не станет помышлять о свободе, пока не найдет средства утолить голод. Даже те, кто ищет власти, опираясь на армию или полицию, в меньшей мере угрожают свободе. «Во все времена, — читаем мы в первом абзаце этой книги, — искренние друзья свободы были редки.»

Тем не менее он верил в прогресс цивилизации, зависящий от прогресса свободы, более того, по временам обольщался настолько, что считал этот прогресс неизбежным, думал, что свобода на Западе «медленно, но столь же и несомненно, все далее и далее простирает над цивилизованным миром свои всепобеждающие знамена.» Для тех, кому довелось жить в XX веке, в эпоху Гитлера и Сталина, слова эти звучат почти как насмешка. Но именно эта вера в свободу явилась основой того влияния, которое Актон имел в поколении мыслящих людей, непосредственно сменившем его собственное поколение, и даже — пожалуй, и особенно, — в том поколении, которое с немалым для себя удивлением столкнулось в жизни с фашистами и нацистами, тогда как ожидало увидеть правительства, созданные народом и служащие интересам народа. Он сделал свободу не только политической целесообразностью, но моральной правотой, справедливостью, и сам находился во власти мистического чувства, что это моральная правота постепенно завоевывает мир.

Он ненавидел все формы угнетения: военное сословие, попирающее слабых; класс богачей, изводящий голодом бедноту; элитарную верхушку образованного общества, эксплуатирующую неграмотных. Он знал, что классы — вовсе не однородные категории; если вы, например, хотите составить правительство из *лучших людей*, вы не сможете отождествить этих лучших ни со всей совокупностью образованных людей, ни с классом обладателей недвижимой собственности в полном его составе, ни со всеми теми людьми, которые обладают политическим опытом. Некоторые из представителей «класса непросвещенных» обнаружат гораздо больше ответственности в своем отношении к государству, чем некоторые из людей образованных. Некоторые из бед-

ных людей значительно лучше подойдут для хорошего правительствa, чем богатые, уже просто потому, что хорошему правительству порою приходится наступать на эгоистические интересы богатых. Словом, мы не должны воображать себе классы как некие однородные образования, все представители которых мыслят сходным образом.

Эта ненависть к угнетению и коррупции пронизывает все сочинения Актона. Он ни на минуту не упускал из виду опасности классовой борьбы и необходимости уберечь от нее слабейшие слои населения. По его убеждению исторический опыт должен был доказать, что одному человеку в политике полностью доверять нельзя — особенно там, где речь для него идет о власти над другими. При этом его не переставал мучить вопрос: как, отказав в доверии одному, вы сможете довериться двадцати — или, скажем, миллиону? Внимательно вчитываясь в сочинения различных политических мыслителей, от античных времен до современного ему поколения, он видел, что многие из знаменитых учителей отстаивали доктрины преступные или абсурдные. Он не доверял человечеству, даже его наиболее элитарной части.

И все же это был ученый, не устававший пристально интересоваться достижениями человечества и восхищаться ими. Здесь скрывается другая причина его влияния: он мог видеть коррупцию, рабство, преступления — и вместе с тем с высочайшим душевным подъемом говорить о достижениях общества как целого. Он, например, считал социализм и коммунизм ошибочными учениями, поскольку они исключали частную собственность, необходимую для всякого свободного общества, но это не мешало ему видеть их притягательность. В очерке о национальном самоопределении, перевод которого здесь помещен, Актон пишет, что социализм «ставит своей целью показать тяготы существования человека под ужасающим бременем, налагаемым современным обществом на плечи людей тяжелого труда. Он не только развивает представления о равенстве, но открывает путь к спасению для страждущих и голодных. При этом сколь бы

ни было на деле ложным предлагаемое решение, но требование спасти беднейших людей от гибели законно и справедливо; и если даже при этом свобода приносится в жертву спасению человека, то все же насущнейшую, первоочередную цель можно считать хотя бы в принципе решенной». ¹

Он мог видеть слабые стороны и предрассудки церковей, он не оправдывал духовенства, эксплуатировавшего паству, — но все это не заслоняло от него огромного вклада, который иудаизм и христианство внесли в дело развития цивилизации и формирования идей свободы. Он понимал природу древнегреческой тирании, охлократии, рабства, ничуть не обольщаясь на счет этих институтов, и все же для поколения, сменившего в Афинах поколение Перикла, нашел такие слова: «их достижения в поэзии и красноречии по сей день являются предметом зависти всего мира, их сочинения по истории, философии и политике остаются непревзойденными». Он видел, что несмотря на принижавшую то или иное общество коррупцию жившие в нем мыслители были способны произвести на свет «благородную литературу», «бесценные сокровища политического знания». Не придерживаясь теории «великих личностей в истории», он все же испытывал истинное восхищение перед многими: перед тем же Периклом, перед Платоном.

Актон полагал, что на основании изучения истории ему удалось установить несколько условий, существенных для свободного общества, если и не абсолютно необходимых для его формирования. Прежде всего, он был убежден, что современный национализм (впрочем, сам он этим словом не пользовался) вредит делу свободы. Крайний национализм всегда попирает права меньшинств. Актону не довелось увидеть дел, творившихся при фашистском и нацистском режимах, но и в прошлом человечества он отыскивал немало подтверждений своей правоты.

¹ Fears 1, 19; см. стр. 137.

Отсюда он сделал весьма необычный вывод о том, что смешение племен в одном государстве является гарантией свободы. Швейцария более свободна потому, что в ней живут этнические группы, говорящие по-французски, по-немецки, по-итальянски и на ладино и восходящие к создавшим эти языки народам; Великобритания своими свободами обязана тому, что в ней вместе живут шотландцы, ирландцы, валлийцы и англичане; Австро-Венгрия более свободна, потому что включает Чехию, Хорватию и Словению; Америка тоже свободнее, чем была бы, не будь она плавильным тиглем рас и племен. Живи Актон в наше время, в 1991-92 годах он, вероятно, был бы не на шутку озабочен мыслью о том, не собирается ли Россия разделить бывший Советский Союз не только на отдельные республики, но и на более мелкие национальные территории, ибо усмотрел бы в этом опасность обострения национализма и, следовательно, серьезную угрозу свободе. Актон, таким образом, отверг учение своего старшего современника Джона Стюарта Милля, согласно которому для создания свободного общества необходимо, чтобы границы государства совпадали с границами расселения этнически однородного племени.

Справедлива ли эта теория о смешении народов, вопрос другой. Швеция дает пример устойчивой демократии, хотя едва ли можно говорить о наличии в ней смешанного населения. Но несомненно, что опыт истолкования истории привел Актона к мысли о предпочтительности федеративных государств типа Швейцарии или Соединенных Штатов, когда речь идет о защите интересов личности и меньшинств. При жизни Актона протекал процесс объединения Германии, причем историк не считал целесообразным, чтобы этот процесс зашел слишком далеко, ибо предвидел угрозу безопасности Европы. В целом же он полагал, что федеративные структуры благотворно скажутся на ходе цивилизации, ибо когда два или более народа живут в рамках одного государства, под единым правительством, культурные взаимовлияния по-разному одаренных племен, дополняя друг друга, способствуют здоровому развитию общества как целого. «Имен-

но в плавильном тигле государства происходит слияние, при котором бодрость, осведомленность и способность одной части человечества передается и становится достоянием другой.»¹ Возможно, что, отправляясь от тех же посылок, Актон почерпнул бы немало воодушевления в 1990-х, наблюдая процесс продвижения Западной Европы в сторону федерализма.

Сочинения Актона насыщены ассоциациями, намеками и отсылками, изобилуют обобщениями, построенными на широком владении материалом. Иногда его документированные построения глубоки, детальны и энциклопедичны, иногда же они только широки. Он упоминает больше имен, чем того требует изложение. Порою его обобщения остро нуждаются в поправках с позиций более позднего критика, знающего последующий ход истории. Современному историку хотелось бы видеть в некоторых местах текста примечания и ссылки, подтверждающие то или иное суждение. У Актона мы находим утверждения излишне однозначные: точка зрения оказывается непременно или либеральной, или точкой зрения вигов; Карл II был «никчемным королем», английская революция 1688 года была громадным успехом цивилизации («неяркой зарей, занявшей в преддверии сияющего дня»).²

Можно ли считать, что абсолютная власть хотя бы в некоторых обстоятельствах, особенно во время кризиса, оправдана — оказывается лучше всякой другой? Этого Актон допустить не мог. Перед ним был пример Неаполитанского королевства, где при дворе одного из царствовавших там Бурбонов его родной дед с успехом исполнял обязанности премьер-министра. Король неаполитанский считал, что его народ настолько беден, угнетен и невежествен, что попросту не может участвовать в политической жизни страны. Даруйте ему демократические институты — и вы своими руками расколете общество, посеете в нем вражду, а возможно и кро-

¹ Fears 1, 426, Национальное самоопределение, см. стр. 127.

² Fears 1, 43-45; см. стр. 90.

вопролитие. Куда лучше удержать всю власть, дать стране хорошее управление, укрепить общественный порядок, сделать все мыслимое, чтобы умерить страдания и нищету народа, строить школы, способствовать народному просвещению.¹ Актон мог с полным правдоподобием нарисовать портрет абсолютизма, он знал, что в проникнутом коррупцией мире этот метод управления был недееспособной иллюзией.

Актон был убежден, что свобода печати — необходимое условие развития свободы гражданина и поэтому не предусмотрел никакой концепции на случай подавления или притеснения прессы. Он, кроме того, был убежден, что поскольку поиски свободы сосредоточены в индивидуальном сознании человека, то основной движущей силой этих поисков является религиозное сознание; для исторического подтверждения этого вывода он приводил данные о длившейся после Реформации борьбе за религиозную терпимость; именно исходя из этого он утверждал, что положение религии в государстве имеет первостепенную важность для сторонников свободного общества. «Религиозная свобода есть созидающее начало свободы гражданской, тогда как гражданская свобода есть необходимое условие религиозной.»² В своей работе *Политические мысли о церкви* он формулирует это в следующих простых словах: «Религиозное сознание абсолютно. Поэтому оно требует пространства для свободы личности. Мы не можем не делать всего, что нам под силу, для расширения пространства, внутри которого мы вольны жить и действовать, сообразуясь с нашей совестью.» Поэтому «церковь не терпит тех разновидностей государства, в которых это право не признано. Она — непримиримый враг государственного деспотизма».³

Актон твердо держался того мнения, что ни один правитель, будь то законный монарх или диктатор, не вправе осуществлять свою волю без согласия народа, и что народ может

¹ Cf Fears 1, 496.

² Fears 1, 47; см. стр. 92.

³ Fears 3, 29.

свергнуть правителя, нарушающего это условие и пытающегося превратить свою власть в тиранию, даже если он получил ее на законном основании. С одной стороны, он был убежден, что государство, в котором существует пропасть между богатыми и бедными, не является справедливым, ибо не может не стать в итоге государством, где бедных угнетают; с другой стороны он полагал, что коммунистическая доктрина всеобщего равенства осуществима только посредством тиранической власти и, следовательно не может обеспечить действительной свободы. О французской революции, начавшейся такими возвышенными надеждами, а закончившейся террором, он сказал: «страсть к равенству погубила надежды на свободу».

Стиль Актона отмечен любовью к эпитетам в превосходной степени, по временам иносказательным и несколько таинственным: «знаменитейший из гвельфских писателей» (Фома Аквинский), «одареннейший писатель среди гибеллинов» (Марсилиус Падуанский), «знаменитейший из ранних философов» (Пифагор), «мудрейший человек в Афинах» (Солон), «замечательнейший из английских писателей двенадцатого века» (Джон из Солсбери), «наиболее образованный из англиканских прелатов» (архиепископ Ашшер) и «талантливейший из французов» (Боссюэ), «самый даровитый руководитель, когда-либо выдвинутый революцией» (Кромвель), «самый популярный из епископов» (Фенелон), «самый чистый консервативный разум» (Нибур), «самый высокоумный из греческих тиранов» (Периандр), «величайший теолог своего времени» (Жерсон), «самый знаменитый роялист Реформации» (Шатобриан), «замечательнейший и с наибольшей полнотой изученный из людей, принадлежащих истории» (Наполеон); наконец, Людовик XIV, «причинивший своей властью столько страдания и наделавший столько ошибок», как ни один из тиранов. Эта стилистическая особенность обнаруживает ту же склонность ума и тот же интеллектуальный навык, которые побудили Актона составить список «ста лучших книг».

Эта расположенность к абсолютизации, к безоговорочным суждениям не вполне согласуется с его собственными принципами писания исторических сочинений. Его учителем был Леопольд фон Ранке, его идеалом — образец беспристрастной и бесцветной истории, в котором историк полностью отсутствует, так что в конце концов мы можем достичь того состояния непредвзятости, той глубины знания всех относящихся к делу фактов, при котором представители двух во всем противоположных точек зрения, систем образования и культурных основ полностью сойдутся в своем суждении об исторической личности: христианин и язычник в одних и тех же словах опишут вам Лютера, патриот французский и патриот немецкий — Наполеона.

Актон отстаивал этот невозможный идеал, как если бы он был достижим, но сам не предпринимал серьезной попытки воплотить его в своих трудах. Происходило это вовсе не из-за его слабости как историка, но благодаря нравственному принципу, пронизывающему все его сочинения. Нравственное суждение не допускает никакой относительности. Историк, утверждал Актон, не должен подыскивать оправдания людям путем помещения их в контекст их собственного времени. Существует абсолютная и вечная мера нравственности, по отношению к которой немислим никакой компромисс. На историка возложена задача в высшей степени существенная: его предмет не только рассказывает людям, откуда они взялись, тем самым помогая им уяснить свою природу и избежать чувства беспочвенности и отсутствия корней; не только до известной степени указывает современникам возможности, позволяющие избежать ошибок во внешней политике, законодательном творчестве и социальной политике, — он, кроме того и в первую очередь, является арбитром нравственного прогресса и нравственного преуспевания человечества, так что благородное и возвышенное призвание историка попросту несовместимо с компромиссом.

По временам читатели будут, надо полагать, раздражены обобщениями Актона, а в иных местах — непрозрачностью

его идей или их изложения. Но они не пожалеют об усилиях, положенных на чтение этой книги. Ибо каждого, кто делает попытку понять его, Актон заставит неотступно и настойчиво размышлять о важнейших причинах политических перемен в обществе, о том, как лучше и достойнее их осуществлять и развивать, о том, что следует выбрать в качестве целей политических и законодательный усилий, и — что важнее всего — о месте нравственности в политике. Именно эта нравственная одаренность поставила его труды выше интересов историка девятнадцатого столетия, превратив его в мыслителя, выдержавшего испытание временем.

*Январь 1992,
Кембридж*

Оуэн Чадвик,
Regius Professor Emeritus
of Modern History,
University of Cambridge.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

При жизни Актона печатались только отдельные его очерки и обзоры в различных журналах; кроме того, вышла в свет одна брошюра. После смерти историка двое его учеников, Дж. Н. Фиггис и Р. В. Лоуренс, опубликовали четыре тома его сочинений:

- Lectures on Modern History, London 1906.
- Historical Essays and Studies, London 1907.
- The History of Freedom and Other Essays, London 1907.
- Lectures on French Revolution, London 1910.

Важным современным изданием очерков Актона является книга – Selected Writings of Lord Acton, edited by J. Rufus Fears, 3 volumes, Indianapolis 1985.

Постраничные примечания во введении делаются на это издание.

Актон был автором интереснейших писем, посмертные коллекции которых обнажают ход его мысли. Познакомиться с ними можно главным образом по следующим четырем изданиям:

1. Дочь Гладстона, Мэри Дрю, разрешила Герберту Полу опубликовать большую часть писем Актона к ней, которые и появились под его редакцией в издании: Letters of Lord Acton to Mary, daughter of W. E. Gladstone, second edition, London 1913.

2. После издания очерков Актона Фиггис и Лоуренс подготовили к печати первый том его писем: Selections from The Correspondence of the first Lord Acton, London 1917.

3. Виктор Концемиус издал три тома переписки Актона с его учителем Доллингером: Ignaz von Döllinger – Lord Acton: Briefwechsel 1850-90, München 1963-1971.

Это превосходно выполненное издание является наиболее важным для понимания мыслей Актона.

4. Josef L. Altholtz, Damian McElrath and James C. Holland. The Correspondence of Lord Acton and Richard Simpson, 3 vols, Cambridge 1971-75.

Исследования:

Лучшей биографией по сей день остается работа Гертруды Химмелфарб:

– G. Himmelfarb, *Lord Acton: A Study in Conscience and Politics*, Chicago 1962.

О либеральном католицизме:

– Josef L. Altholtz, *The Liberal Catholic Movement in England*, London 1962.

Характеристика личности Актона, его отношения с Гладстоном:

– Owen Chadwick, *Acton and Gladstone*, London 1976.

ОЧЕРКИ

ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ СВОБОДЫ¹

Вслед за религией, свобода была и остается побудительным началом добрых поступков и обиходным оправданием преступлений. Так повелось с древности, с той поры, как ее семя упало в аттическую почву 2460 лет назад; так это и в наши дни, когда народы европейской расы вкушают собранный с ее древа урожай. Свобода — изысканный плод зрелой цивилизации; но едва ли столетие миновало с тех пор, как народы, уразумевшие смысл этого слова, решились быть свободными. В каждую эпоху на пути свободы стояли ее естественные враги: невежество и предрассудки; страсть к завоеваниям и любовь к праздности; жажда власти, присущая сильным, и потребность в хлебе насущном, ведущая слабых. Случалось, развитие свободы останавливалось на долгие годы и десятилетия — когда народы бывали поглощены борьбой с варварством или иноземными захватчиками; когда беспрестанная борьба за существование, лишая людей всякого понимания политики и интереса к ней, заставляла их искать случая продать свое первородство за чечевичную похлебку и оставаться в полном неведении относительно отброшенного ими драгоценного достояния. Во все времена искренние друзья свобо-

¹ Прочитана 26 февраля 1877 года перед членами Бриджнортского института.

ды были редки, и всегда она торжествовала усилиями меньшинства, одерживавшего верх благодаря союзу с помощниками, чьи цели зачастую отличались от его собственных; да и союз этот, всегда опасный, по временам становился гибельным, ибо противникам давал почву для противостояния, а между победителями разжигал распри над трофеями в самый час победы. Ни одно из препятствий не было столь неизменным и столь труднопреодолимым, как неопределенность понятия подлинной свободы и замешательство при выяснении ее сущности. Сколь ни велик ущерб от столкновения враждующих сторон, преследующих противоположные цели, ущерб от ложных идей — еще значительнее; его шествие по дорогам истории прослеживается как в накоплении познания, так и в исправлении законов. История общественных установлений есть часто история заблуждений и иллюзий; ибо достоинства наших установлений зависят от идей, положенных в их основу, и духа, охраняющего их целостность; их форма может оставаться неизменной, в то время как сущность утрачивается.

Несколько хорошо известных примеров из политической жизни нового времени пояснят, почему центр тяжести моей аргументации я выношу за пределы области законодательства. Часто приходится слышать, что наша конституция обрела свое формальное совершенство в 1679 году, когда был издан Закон о неприкосновенности личности. Однако тотчас явился Карл II, всего два года спустя объявивший себя независимым от парламента. В 1789 году, в то самое время, когда в Версале заседали Генеральные штаты, — съехались после перерыва в несколько поколений и испанские Кортесы. Это почтенное собрание, возникшее прежде Великой хартии вольностей и нашей Палаты общин, немедленно обратилась к королю с нижайшей просьбой: воздерживаться от консультаций с его членами и проводить реформы, отправляясь от державной воли и мудрости его величества. Согласно общему мнению, не прямые выборы — гарантия консерватизма. Между тем все ассамблеи времен Французской революции были избраны непрямым голосованием. Другой признанной

опорой монархии является ограничение числа избирателей. Но парламент Карла X, повторно избранный девяноста тысячами граждан, поднялся против своего суверена, опрокинул его трон и высказался за республику, — тогда как парламент Луи-Филиппа, избранный в соответствии с конституцией, предоставившей право голоса двумстам пятидесяти тысячам граждан, раболепно поддерживал реакционную политику его министров, — и его фатальный раскол, закрыв дорогу реформе, поверг монархию во прах и дал возможность Гизо получить большинство в 129 голосов государственных служащих. Законодательный орган, члены которого не получают жалованья, по вполне очевидным причинам является более независимым, чем большинство законодательных собраний континентальной Европы, где депутаты находятся на содержании государства. Но это правило теряет силу в Америке, где было бы крайне неразумно посылать представителя за тридевять земель от дома, на расстояние, не уступающее расстоянию отсюда до Константинополя, — с тем, чтобы он в течение целого года жил в самой дорогой из столиц за свой счет. Согласно закону и при взгляде со стороны американский президент является наследником Джорджа Вашингтона, и отпущенная ему власть все еще ограничена Филадельфийской конвенцией. В действительности же новый президент в такой же мере отличается от администратора, каковым глава правительства мыслился отцам республики, в какой монархия отличается от демократии, — недаром ожидается, что он произведет 70 тысяч перемещений и назначений в общественном секторе, тогда как пятьдесят лет назад Джон Куинси Адамс уволил в свое президентство только двух человек. Кажется вполне очевидным, что покупка судебных должностей не имеет ни малейшего оправдания — и все же во времена старой французской монархии именно эта чудовищная практика создала единственную в стране корпорацию, способную противиться воле короля. Коррупция в официальных кругах, которая разрушила бы республику, в страдающей от абсолютистского гнета России предстает как благодная отдушина. Существо-

ют условия, при которых едва ли преувеличением будет сказать, что самое рабство на определенном этапе есть путь к свободе. Именно поэтому мы на нашем сегодняшнем заседании менее озабочены мертвой буквой эдиктов и статутов, чем живой человеческой мыслью. Сто лет назад каждому было известно, что за одну аудиенцию у чиновника канцлерского суда приходится платить как за три, — и никто не обращал на эту гнусность внимания, пока одному молодому юристу не пришло в голову, что следовало бы поставить под вопрос и подвергнуть самому взыскательному и детальному рассмотрению самую систему, при которой возможны подобного рода вещи. Тот день, в который эта мысль сперва забрезжила в сознании, а затем озарила ясный и суровый ум Иеремии Бентама, в политическом календаре значит больше, чем все без изъятия дни властвования многих политических деятелей. Не составит большого труда отыскать несколько строк у Блаженного Августина или фразу из Гроция, которые перевесят постановления пятидесяти парламентов. Наше правосудие большим обязано Цицерону и Сенеке, Вине и Токвиллю, чем законам Ликурга или пяти кодексам Франции.

Под свободой я понимаю гарантию того, что каждый человек, по велению долга и совести выступивший против власти или большинства, против обычая или общественного мнения, обладает социальной защищенностью. Государство определяет обязанности граждан и намечает границу между добром и злом — но лишь в самом общем виде, так что и в том, и в другом его компетенция не простирается далее весьма тесной сферы. За пределами, установленными необходимостью поддержания своего благоденствия, государство может оказывать людям лишь косвенную помощь в той непрестанной борьбе, каковой всегда является человеческая жизнь, — и помощь эта сводится к поощрению начал, удерживающих человека от дурных поступков и влечений: в поощрении религии и просвещения, в распределении общественного богатства. В древности государство присваивало себе права, на деле ему не принадлежащие, и тем самым вторгалось в область личных свобод. В средние века оно обладало

слишком незначительной властью — и позволяло вторгаться в эту область другим силам. Государства нового времени постоянно впадают то в ту, то в другую крайность. Наиболее убедительным показателем, по которому мы судим, является ли государство действительно свободным, есть та степень безопасности, которой в нем пользуются меньшинства. Свобода, по этому определению, есть существенное условие веры и ее попечительница, — соответственно, и первая иллюстрация моей теме содержится в истории избранного народа. Государство древних евреев представляло собою федерацию, державшуюся не на политическом авторитете власти, а на племенном и религиозном единстве, и основанной не на применении силы, а на добровольном завете с Богом. Принцип самоуправления осуществлялся не только в каждом колене израильском, но в каждой группе, состоявшей из по меньшей мере 120 семей; перед лицом закона не было ни привилегий, вытекающих из общественного положения, ни неравенства. Монархия была столь чужда примитивному духу общины, что вызвала к жизни знаменитый протест пророка Самуила и его же предостережение, оправданное впоследствии всеми царствами Азии и многими королевствами Европы. Трон опирался на соглашение, и царь не получал вместе с ним права предписывать законы народу, не признающему иного законодателя, кроме Бога, народу, чьей высочайшей политической целью было восстановление общественного уклада в его первоизданной чистоте и создание правительства, отвечающего освященному небом идеалу. Одержимые духом подвижники, взращенные под сенью непрерывной череды пророчеств против узурпации и тирании, неизменно призывали помнить, что законы даны небом и стоят выше греховных земных правителей; эти люди отвращали взгляд от преходящей земной власти, от царя, священнослужителей и сильных мира сего, и обращали его к целящим силам, дремлющим в целомудренной совести народных масс. Так библейский народ своим примером проложил пути, аналогичные всем последующим путям обретения свободы, создал доктрину национальной традиции и доктрину ниспо-

сланного свыше закона: принцип, согласно которому конституция вырастает из корней, формируется не в результате крутых перемен, но в процессе развития; а также принцип, утверждающий, что всякая политическая власть подлежит оценке и преобразованию в соответствии с предписаниями закона нерукотворного. Действие этих принципов, в согласии или в рассогласовании, занимает собою все то пространство, которое мы собираемся вместе пройти.

Столкновение между свободой, процветающей под установлениями божественной власти, и абсолютизмом земных правителей обыкновенно заканчивалось катастрофически. В 622 году верховной властью в Иерусалиме была предпринята чрезвычайная попытка преобразовать и тем уберечь государство. Первосвященник иерусалимского храма вручил царю и народу священную книгу — напоминание об оставленном и забытом людьми божественном законе, — и царь и народ торжественно поклялись соблюдать его. Однако этот ранний пример ограниченной монархии и главенства закона продлился недолго и распространения не получил, — и те силы, с помощью которых в итоге была завоевана свобода, следует далее искать в другом месте. В том самом 586 году, когда волна азиатского деспотизма захлестнула город, бывший — и вновь имевший предназначение стать — святилищем свободы на Востоке, росток свободы обрел себе новую почву на Западе, под защитой гор, моря и мужественных сердец другого народа; здесь было возвращено это величественное дерево, под сенью которого мы живем и поныне — и которое столь медленно, но столь же и несомненно, все более и более простирает над цивилизованным миром свои несокрушимые ветви.

Говоря словами знаменитого высказывания знаменитейшей писательницы континентальной Европы, свобода — установление древнее, а нов именно деспотизм. Новейшие историки гордятся тем, что доказали справедливость этой максимы. Эта истина нашла себе подтверждение в героическую эпоху Древней Греции, а в тевтонской Европе явила о себе с еще большей наглядностью. Где бы мы ни проследили раннюю историю арийских народов, мы открываем зачатки

того, что при благоприятных обстоятельствах и деятельной культуре могло развиваться в свободные общества. Эти зачатки показывают наличие некоторого общего интереса к общественно важным вопросам, отсутствие чрезмерного почтения к внешней власти, неудовлетворенность работой государственной машины и главенствующей ролью государства. Там, где разделение собственности и труда не завершилось, там не вполне вычленились также и классы, и власть. До тех пор, пока общества не подвергаются испытанию сложнейшими проблемами цивилизации, они могут избежать деспотизма, — как общества, не возмущаемые религиозным многообразием, свободны от гонений. Говоря вообще, патриархальные формы не в силах препятствовать росту могущества абсолютистского государства там, где начинают заявлять о себе трудности и соблазны современной жизни; и едва ли возможно — за одним превосходным исключением, обсуждение которого не входит сегодня в мои планы, — проследить выживание этих форм в институтах последнего времени. За шестьсот лет до рождения Христа абсолютизм обладал неограниченной властью. На Востоке он неизменно находил поддержку жречества и армии. На Западе, где не было священных книг, требующих опытных интерпретаторов, и жречество не обладало таким влиянием, власть сверженного короля переходила в руки аристократии. В результате на протяжении многих поколений мы имеем примеры жестокого классового господства, угнетения богатыми бедных, невежественными — мудрых. Дух этого господства нашел себе страстное воплощение в словах аристократического поэта Феогнида, человека образованного и талантливого, который клялся, что готов пить кровь своих политических противников. Неудивительно, что многие граждане искали избавления от такого рода угнетателей в не столь невыносимой тирании революционных узурпаторов. Это лекарство придало старому злу новую форму и новый заряд энергии. Тираны часто оказывались людьми удивительных способностей и достоинств, пример чему дают некоторые из кондотьеров, в четырнадцатом столетии становившихся владельческими

князьями итальянских городов; но права человека, основанные на равенстве перед законом и разделении власти, не осуществлялись нигде.

От этого повсеместного вырождения мир был спасен самым талантливым из народов. Афины, подобно другим городам сбитые с толку и угнетенные родовой аристократией, сумели избежать насилия — и поручили Солону пересмотреть древние законы ионийцев. Это был счастливейший выбор в истории. Солон оказался не только мудрейшим человеком в Афинах, но и величайшим политическим гением древности; и та естественная в своей простоте, мирная и бескровная революция, с помощью которой он избавил Аттику от тирании, стала первым шагом на пути, которым в своем торжестве следует наш век, — она учредила власть, способную сделать и сделавшую для возрождения общества более, чем какая-либо иная сила на земле, исключая лишь богооткровенную религию. Прежде верхушка общества обладала правом создавать и проводить в жизнь законы, — Солон оставил за нею это право, лишь передав богатству то, что прежде было привилегией родовитости. Только богатым было под силу нести бремя общественной службы, налогообложения и военных расходов, — и Солон предоставил им участие в управлении полисом, пропорциональное их достоянию. Бедные были освобождены от прямых налогов, но лишены права занимать общественные должности. Однако законы Солона давали им право голоса в народном собрании при выборе должностных лиц из числа представителей имущих граждан и право требовать от народных избранников отчета в их деятельности. Эта уступка, по видимости столь незначительная, положила начало далеко идущим переменам. Солон утвердил мысль о том, что человек должен обладать голосом при выборе тех, чьим моральным устоям и мудрости онверяет свое состояние, свою семью и самую свою жизнь. Эта мысль совершила настоящий переворот в представлении о земной власти, ибо возвестила воцарение нравственного начала, поставив в зависимость от него всякую политическую власть. Место навязанного силой правительства заступило

правительство общественного согласия; пирамида, стоявшая на своей вершине, была перевернута — и встала на основание. Дав каждому гражданину право находиться на страже своих интересов, Солон сделал первый шаг в сторону демократизации государства. Величайшая слава правителя, сказал он, состоит в создании народного правительства. Полагая, что ни одному человеку не следует доверять вполне и безусловно, он поставил власть имущих под бдительный контроль тех, кому они служат.

Прежде единственным известным средством умиротворения политических беспорядков было сосредоточение власти. Солон задался целью добиться того же результата путем распределения власти. Он вручил рядовым гражданам ту долю участия в делах государства, которой, как он полагал, они в состоянии распорядиться, — с тем, чтобы избавить государство от случайных и склонных к произволу правительств. Сущность демократии, провозгласил он, — не знать иного властителя, кроме закона. Солон выявил принцип, согласно которому ни одна из форм политической организации не является ни окончательной, ни сакральной, и каждая обязана соотноситься с обстоятельствами; в деле пересмотра старых уложений и создания своей конституции он сумел обойтись без нарушения нормального течения жизни или политического равновесия — и в общем показал себя столь блистательно, что спустя целые столетия после его смерти афинские ораторы приписывали ему и утверждали его именем всю без изъятия структуру афинского законодательства. Самое направление развития этого законодательства было определено основополагающей доктриной Солона, согласно которой политическая власть должна быть пропорциональная общественному служению. В ходе Персидской войны демократические учреждения оттеснили систему подчинения эвпатридам, — и на флоте, очистившем Эгейское море от азиатов, служил и воевал беднейший афинский люд. Этот класс, чье мужество спасло государство, а с ним и развитие европейской цивилизации, завоевал себе в обществе право на большие влияния и привилегии. Государственные должно-

сти, прежде бывшие монополией богатых, внезапно открылись бедным, — и чтобы гарантировать им участие в управлении, все магистраты, кроме наивысших, стали распределяться по жребию.

В эпоху увядания древней власти не существовало признанного стандарта нравственного и политического права, исходя из которого могли бы складываться динамичные, быстро приспособляющиеся к переменам общества. Нестабильность, характерная для структур этого периода, поставила под угрозу самые принципы управления. Национальные культы вызывали все большие сомнения, а сомнение пока еще не прокладывало путей познанию. В прежние времена нормы общественной и частной жизни воспринимались как воля богов, — но эти времена миновали. Бесплотная богиня Паллада афинян и солнечный бог Аполлон, чьи оракулы, изрекавшиеся в святилище между двумя вершинами Парнаса, так много сделали для греческого народа, — способствовали поддержанию возвышенного религиозного идеализма; однако когда просвещенные греки научились прилагать присущий им изощренный дар размышления к системе наследственных верований, они быстро осознали, что бытующие представления о богах портят жизнь и ведут к общественному вырождению. Народная нравственность более не поддерживалась народной религией. Моральные предписания, за которыми больше не стояла воля олимпийцев, не находили себе подтверждения и в книгах. Не было освященного временем писания, истолковываемого знатоками, не было учения, свидетельствуемого людьми признанной святости, подобными учителям Востока, чьи слова и по сей день управляют судьбами почти половины человечества. Усилие, предпринятое с тем, чтобы путем более пристального рассмотрения и точного размышления уяснить себе природу вещей, началось разрушением. Позже настало время, когда философы Портика и Академии развили предписания мудрости и добродетели в систему столь последовательную и всестороннюю, что почти не оставили работы христианским богословам. Однако тогда это время еще не пришло.

Переходная эпоха сомнений, в ходе которой греки проделали путь от неясных мифологических мечтаний до ослепительного света науки, была эпохой Перикла, и попытка поставить на место указов одряхлевшей власти некую незыблемую истину, попытка, начавшая вбирать в себя всю мощь греческого интеллекта, вылилась в грандиознейшее в языческой истории человечества движение, сделавшее так много, что даже после невероятных свершений христианства именно ей мы обязаны большей частью нашей философии и безусловно драгоценнейшей частью принадлежащих нам политических знаний. Глава афинского правительства, Перикл оказался первым государственным мужем, столкнувшимся с проблемой, которую выдвинуло на политическую сцену быстрое ослабление роли традиций в обществе. Не оставалось авторитетов в политике или нравственности, не поколебленных этим веянием. Никакому руководству невозможно было довериться вполне; не существовало критерия, к которому можно было бы прибегнуть в качестве средства для регулирования или отрицания преобладавших в народе убеждений. Народное представление о правильном и достойном могло быть ошибочным, но не было способа проверить, так ли это на деле. В практических вопросах народ был носителем знания о добре и зле, — следовательно, и носителем власти.

На этом заключении покоилась политическая философия Перикла. Он решительно отстранил все подпорки, еще поддерживавшие преимущества богатства. На место древнего представления о том, что право на власть следует из обладания землей, он поставил новое, согласно которому власть должна быть распределена с той степенью равномерности, которая обеспечивает равную для всех безопасность. Мысль о том, что какая-то часть общины может управлять всей общиной, или что один класс может предписывать законы другому, он объявил деспотической. Но отмена привилегий означала бы лишь передачу преимущественного влияния из рук богатых в руки бедных, поэтому Перикл уравнивал положение, проведя закон, по которому афинскими граждана-

ми считались только жители города афинского происхождения. Тем самым численность класса, который мы бы назвали третьим сословием, была сведена к 14 тысячам граждан, и сделалась примерно равной численности представителей высших классов. Перикл держался того мнения, что афинянин, пренебрегающий участием в общественных делах, теряет и свою долю в общественном достоянии. Для того, чтобы нужда не препятствовала общественному служению, он установил для бедных пособия, которые выплачивались из государственных фондов; ибо под его управлением дань и сборы с союзников доставляли афинской казне более двух миллионов фунтов стерлингов. Инструментом власти в его время было красноречие; Перикл правил Афинами, убеждая сограждан в правильности своих предложений. Каждый вопрос выносился на открытое обсуждение народного собрания, и любое влиятельное лицо подчинялось доводам рассудка. Мысль о том, что назначение конституций состоит не в утверждении преобладающих интересов какой-либо одной группы над прочими, но в ограждении интересов каждой из групп, в защите, притом с равной степенью бережности, независимости труда и неотчуждаемости собственности, в ограждении богатых от зависти, а бедных от угнетения, — знаменует собою высочайшее достижение греческой государственности. Она едва ли пережила великого патриота, постигшего ее глубину, — и вся последующая история представляет собою нескончаемые попытки нарушить общественное равновесие власти путем предоставления преимуществ то обладателям капитала, то землевладельцам, то наиболее многочисленной группе. Явилось поколение небывалой и никогда впоследствии не повторившейся одаренности, поколение людей, чьи достижения в поэзии и красноречии по сей день являются предметом зависти всего мира, чьи сочинения по истории, философии и политике остаются непревзойденными. Но для Перикла в этом поколении преемника не нашлось; никто не смог поднять скипетр народного правителя, выпавший из его руки.

Принятие афинской конституцией положения о том, что каждая группа интересов должна обладать правами и возможностью отстоять эти права, стало важнейшим шагом в развитии народов. Но те, кто терпел поражение при голосовании в народном собрании, оставались ни с чем. Закон не сдерживал торжествующего большинства и не защищал меньшинство, порою оказывавшееся в ужасном положении. Когда эпоха Перикла с его подавляющим авторитетом миновала, наступили времена ожесточенных и ничем не сдерживаемых классовых конфликтов, а Пелопоннесская война, в сражениях которой во множестве гибли представители высших классов, дала в народном собрании громадный перевес низшим классам. Неутомимый исследовательский пыл афинян спешил выявить смысл любого установления, подвергнуть проверке последовательность каждого принципа, и их конституция проделала свой путь от младенчества до дряхлости с беспримерной быстротой.

Срок всего двух человеческих жизней отделяет первые ростки демократии при Солоне от падения государства. Афинская история дает классический пример того, какие опасности таит в себе демократия при необычайно благоприятных для этого условиях. Ибо афиняне были не только храбрыми патриотами, способными к великодушным жертвам: они были и наиболее религиозным народом древних греков. Они почитали конституцию, которая обеспечила им благосостояние, равенство и свободу, и никогда не подвергали сомнению основополагающие законы, регулировавшие огромную власть народного собрания. Они терпимо относились к широкому разнообразию мнений и подчас излишней свободе речей; а их гуманное обращение с рабами возбуждало негодование даже среди наиболее умных приверженцев аристократии. Наконец, они стали единственным народом античности, достигшим величия при демократическом строе. Однако обладание неограниченной властью, — той самой, что разъедает совесть, ожесточает сердца и лишает способности отчетливо мыслить монархов, — оказало свое деморализующее влияние на прославленную афинскую де-

мократию. Ужасно находиться под гнетом меньшинства, но еще ужаснее находиться под гнетом большинства. Массы обладают неким скрытым энергетическим потенциалом, и когда он вырывается наружу, меньшинства редко могут противостоять ему. Что можно выставить против самовластной воли всего народа? Здесь не поможет ни мольба, ни обжалование, ни искупление; единственным прибежищем остается измена. Наиболее многочисленный и наиболее низкий класс Афин совместил в своих руках законодательную, судебную и до известной степени исполнительную власть. Господствовавшая философия тогда учила афинян, что нет закона более высокого, чем закон государства, и законодатель стоит выше закона.

Следствием стало то, что суверенный народ мог делать решительно все, что было в его власти, без малейшей оглядки на какие-либо представления о справедливости, исходя единственно из соображений своей выгоды. На одном из вошедших в историю народных собраний афиняне постановили считать чудовищным посягательством всякую попытку воспрепятствовать осуществлению решений народа, каким бы это решение ни оказалось. Не было силы, которая могла удержать их, — а значит, решили они, нет и сдерживающих обязанностей; они не будут отныне связаны никакими законами кроме ими же установленных. Так освобожденный народ Афин стал тираном, а его государственный строй, положивший начало европейской свободе, отошел в историю под знаком проклятия, с ужасающим единодушием произнесенного над ним всеми мудрейшими людьми древности. Афиняне погубили свой город, ибо пытались поставить ведение войны в зависимость от споров на рыночной площади. Подобно французской республике, они часто казнили полководцев, проигравших сражение. С зависимыми от них городами-государствами они обходились с такой несправедливостью, что в итоге утратили свою морскую империю. Богатых они грабили до тех пор, пока не вынудили их сговориться с врагами; наконец, они увенчали свой позор мученической смертью Сократа.

После того, как неограниченная власть толпы длилась почти четверть века, от государства, по существу, не осталось ничего кроме имени, и афиняне, вконец измученные и отчаявшиеся, осознали причину постигшей их катастрофы. Они поняли, что для осуществления свободы, справедливости и равенства перед законом демократия в такой же мере должна ограничивать себя, как в прошлом должна была себя ограничивать олигархия. Они попытались вернуть себе былую славу — восстановить древний порядок вещей, который существовал, когда монополия на власть была отобрана у богатых, но еще не перешла полностью к бедным.

После провала первой попытки реставрации, памятной только тем, что всегда безошибочный в своих политических суждениях Фукидид назвал возглавившее ее правительство лучшим за всю историю Афин, была предпринята другая, более целеустремленная и основательная попытка. Враждующие партии примирились, провозгласили первую в истории амнистию и решили править совместно. Законы, освященные традицией, были сведены в кодекс, и было установлено, что ни одно из решений суверенного народного собрания не имеет силы, если оно не согласуется с этим писанным сводом законов. Была проведена отчетливая черта между нерушимыми, при всех обстоятельствах остающимися в силе положениями конституции, и указами, отражающими текущие нужды и понятия; буква закона, явившегося творением поколений, была поставлена вне зависимости от подверженной игре настроений сегодняшней воли народа. Прозрение это пришло слишком поздно и уже не спасло республику. Но урок, добытый опытом афинян, навсегда остался в истории; ибо он учит, что всенародная власть, осуществляемая правительством наиболее многочисленного и потому наиболее сильного класса, является злом, сопряженным с абсолютной монархией, и практически по тем же причинам требует институтов, предохраняющих эту власть от самой себя и устанавливающих высшую власть закона, способную противостоять произвольным поворотам общественного мнения.

Рим следовал в разработке тех же проблем путями, напоминавшими пути подъема и спада афинской свободы, при этом следовал более конструктивно, — но более значительный временный успех сменился здесь в итоге еще более страшной катастрофой. То, что откровенные афиняне развивали средствами доводов и убеждения, в Риме приняло форму конфликта соперничающих сил. Спекулятивная политика не соответствовала жестокому и практичному гению римлян. Сталкиваясь с трудностью, они избирали не наиболее многообещающий путь ее преодоления, а путь, указанный аналогиями; минутным порывам и воодушевлениям они придавали меньше значения, чем примерам и прецедентам. Своеобразный характер римлян побуждал их возводить происхождение своих законов к раннему периоду истории города; а их потребность обосновать непрерывность римских государственных установлений и избежать упрека в нововведениях нашла себе выражение в легенде о римских царях. Столь сильная приверженность традициям замедлила их прогресс; они продвигались вперед лишь под давлением необходимости, и для окончательного урегулирования вопроса часто требовалось, чтобы вызвавшая его ситуация повторилась. Конституционная история республики начинается с усилий патрициев, заявлявших, что только они и есть настоящие римляне, удержать в своих руках отобранную ими у царей власть, — в ответ на усилия плебеев разделить ее с патрициями. Этот спор, на который у порывистых и неутомимых афинян ушло время одного поколения, у римлян длился более двухсот лет, с момента отстранения плебса от участия в делах управления городом при сохранении за ним налоговой и служебной повинностей, и до 286 года, когда плебеи, наконец, добились политического равноправия. Вслед за тем идут 150 лет беспримерного процветания и славы; а далее, из первоначального столкновения интересов, улаженного скорее на основе компромисса, чем теоретически, вырос новый, так и не получивший своего естественного разрешения.

Массы обедневших семей, разоренных нескончаемыми войнами, были поставлены в зависимое положение от при-

мерно двух тысяч глав богатых аристократических родов, разделивших между собою всю обширную сферу управления государством. Когда необходимость в переменах достигла особенной остроты, братья Гракхи попытались вынудить богатые классы поделиться общественными землями с бедной и тем облегчить ее положение. Старая знать, родовая и военная аристократия оказала упорное сопротивление, но она владела и искусством уступок. Аристократия более молодая и заносчивая была к нему неспособна. Наиболее ожесточенные столкновения в этом противоборстве изменили самый характер народа. Соперничество за политическую власть велось с умеренностью — качеством, облагораживающим соперничество партий в Англии. Но там, где дело касалось материального существования, борьба достигала неистовства гражданских смут Франции. Отброшенный, побежденный богатыми в длившейся целых 22 года борьбе, народ, в составе которого двадцать тысяч триста человек зависели от общественных продовольственных раздач, готов был следовать за всяким, кто путем революции или переворота обещал доставить массам то, чего они не могли получить законным путем.

Обыкновенно сенат, который олицетворял собою древний и оказавшийся под угрозой порядок вещей, бывал достаточно силен для того, чтобы подавить всякого поднявшего голову народного вождя. Но вот явился Юлий Цезарь, поддержанный, с одной стороны, преданной ему армией, во главе которой он сделал беспримерную военную карьеру, а с другой стороны — изголодавшимися массами, чье расположение он купил своей безудержной либеральностью. Человек, более кого бы то ни было владевший искусством повелевать, он рядом последовательных мер превратил республику в монархию, не прибегая для этого ни к ущемлению прав и интересов, ни к насилию.

До правления Диоклетиана империя сохраняла свои республиканские формы, но на деле воля императоров была столь же непререкаемой, как воля народа после победы трибунов. Но хотя власть императоров была произволом даже и

в самых мудрых ее проявлениях, все же римская империя со- служила делу свободы лучшую службу, чем римская респу- блика. Я не имею в виду сказать, что некоторые императоры по временам достойно распоряжались вытекавшими из их колоссальной власти возможностями, — как, например, Нер- ва, о котором Тацит пишет, что этот властитель соединил мо- нархию со свободой: вещи, при прочих обстоятельствах не- совместимые; или что империя, как утверждалось в возноси- мых ей славословиях, была усовершенствованием демокра- тии. В действительности она была едва прикрытой и отгал- кивающей деспотией. Но Фридрих Великий был деспотом — и, однако же, проявлял терпимость и приветствовал свободу слова. Оба Бонапарта были деспотами — но не существовало более приемлемых для народных масс правителей, чем Напо- леон I в 1805 году, сразу после уничтожения им Республики, или чем Наполеон III в зените его могущества в 1859 году. Так же точно и Римская империя обладала достоинствами, которые по прошествии времени, особенно значительного времени, беспокоят людей больше, чем трагическая тирания, ощущавшаяся в непосредственной близости от император- ского дворца. Бедные получили от империи то, чего они тщетно требовали от республики. Богатым жилось вольгот- нее, чем при триумvirате. Привилегии римского граждан- ства были распространены на жителей провинций. Импер- ской эпохе принадлежит лучшая часть римской литературы, на нее почти полностью приходится создание римского гражданского уложения. Именно империя смягчила тяготы рабства, установила религиозную терпимость, положила на- чало законодательству о правах народов и создала совершен- ную систему законов о собственности. Свергнутая Цезарем республика была чем угодно, только не свободным государ- ством. Она надежно гарантировала права гражданина, но свирепо попирала права человека; она позволяла свободным римлянам налагать жестокие наказания на своих детей и иж- дивенцев, не знать милосердия к должникам, заключенным и рабам. Важнейшие идеи прав и обязанностей, не занесенные на скрижали муниципального закона, но известные благо-

роднейшим умам Греции, по существу не брались здесь в расчет, а философия, занимавшаяся их построением, не единожды поносила как подстрекательская и нечестивая.

И вот в 155 году в Риме с политической миссией появился афинский философ Карнеад. В перерывах между деловыми встречами он прочел две публичных лекции — с целью дать неграмотным покорителям его родины некоторое понятие о спорах, кипевших в аттических школах. На первой лекции он говорил о естественном праве, на второй — отрицал его существование, утверждая, что все наши понятия о добре и зле вытекают из безусловных правовых актов. Со времени этой достопамятной демонстрации умственной мощи побежденные держали своих завоевателей в рабстве. Самые выдающиеся общественные деятели Рима, такие как Сципион или Цицерон, в умственном отношении складывались и образовывались под влиянием греков, и римские юристы впредь проходили суровую школу Зенона и Хрисиппа.

Если провести условную черту во втором столетии, когда становится осязаемым влияние христианства, и задаться вопросом вынести суждение о политике античности исходя из ее фактического законодательства, то нашей оценке должен подлежать закон. Господствовавшие понятия о свободе были несовершенны, а попытки осуществить их не достигали цели. Упорядочение власти древним давалось легче, чем упорядочение свободы. Они вручали государству столько исключительных прав, как если бы хотели вовсе лишить человека точки опоры, с которой он мог бы отвергать юрисдикцию или класть границы активности государства. Если мне позволено будет прибегнуть к выразительному анахронизму, то я скажу, что порок государства классической эпохи состоял в том, что оно было одновременно и церковью, и государством. Нравственность была неотделима от религии, политика — от нравственности; в религии, нравственности и политике господствовал единый законодатель и единый авторитет. Государство, в ту пору делавшее прискорбно мало для образования и практической науки, для нуждающихся и беспомощных, для удовлетворения духовных запросов чело-

века, тем не менее требовало от него напряжения всех его способностей, исполнения всех его обязанностей и повинностей. Личность и семья, различные объединения людей и подвластные страны — в громадной степени были материалом, который суверенная власть использовала в своих целях. Чем раб был в руках хозяина, тем гражданин был в руках общины. Священнейшие обязанности человека обращались в ничто перед лицом общественной пользы. Пассажиры существовали ради и во имя корабля. Пренебрегая интересами личности, нравственным благосостоянием и воспитанием, греки и римляне разрушали жизненно важные элементы, на которых покоится процветание народов, — и вот роды их угасли, страны обезлюдели, и народы эти канули в вечность. До нас они дошли не в своих институтах, но в своих идеях; благодаря их идеям, в особенности — искусству управления, они для нас

*Властители ушедшие, что правят
Умами нашими из тьмы гробниц.*

Действительно, к их времени восходят почти все ошибки, по сей день подрывающие политические основы общества, — коммунизм, утилитаризм, подмена власти тиранией, свободы — беззаконием.

Представление о том, что первобытные люди жили в естественном состоянии, то есть в отсутствие законов и под властью насилия, принадлежит Критию. Коммунизм в своей наиболее грубой форме был рекомендован Диогеном Синопским. Согласно софистам обязанности человека сводятся к целесообразности, подсказанной требованиями момента, а добродетель — к наслаждениям. Лучше нанести удар, чем пострадать по ошибке; нет большего добра, чем причинять зло, заведомо не опасаясь кары, и нет худшего зла, чем страдать, не имея утешения в мести. Правосудие и поиски справедливости суть маска трусости, неправоудие и несправедливость составляют основу житейской мудрости; долг, послушание, самоотречение суть мошенничества, присущие лице-

мерам. Правительство обладает абсолютной властью, может предписывать подданным все, что ему вздумается, и никто не смеет жаловаться на несправедливости, — однако если подданный может избежать принуждения и наказания, он волен не подчиняться правительству. Счастье состоит в обладании властью и в отсутствии необходимости кому-либо повиноваться; тот, кто взошел на трон путем вероломства и убийства, достоин истинной зависти.

Эпикур не далеко отстоит от проповедников кодекса революционного деспотизма. Все общества, говорит он, основаны на соглашении о взаимном ограждении интересов. Понятия добра и зла условны, ибо молнии небесные равно разят правых и неправых. Дурные поступки плохи не сами по себе, а своими последствиями для того, кто их совершает. Мудрецы соблюдают законы не в силу морального обязательства, но ради самозащиты, — когда же законы перестают быть выгодными, они утрачивают силу. — Ограниченность суждений почти всех прославленных метафизиков обнаруживается в известном высказывании Аристотеля, назвавшего отличительным признаком худших правительств то, что людям при них позволено жить, как им заблагорассудится.

Если не упускать из виду, что лучший из язычников, Сократ, не знал более высокого критерия для оценки людей и более надежного руководства для их поведения, чем законы страны, в которой им довелось жить; что Платон, чье возвышенное учение столь близко предвосхитило христианство, что знаменитейшие теологи хотели наложить запрет на его труды — из опасения, что их притягательная сила лишит в глазах людей привлекательности более возвышенные и пророческие слова тех, кто воочию узрел Сына Человеческого, — что этот обладатель самого блистательного ума из когда-либо дарованных человеку направил свою интеллектуальную мощь на защиту утверждения, что семья должна быть отменена, а дети брошены на произвол судьбы; что Аристотель, величайший моралист античности, не видел греха в набегах на соседние народы и их порабощении; но мало того:

если вы возьмете в рассуждение, что и в новейшие времена люди, гениальностью равные древним, придерживались политических учений не менее преступных или абсурдных, — то для вас станет очевидным, сколь неодолима фаланга ошибок преграждает путь к истине; а также и то, что в деле создания свободной формы правления чистый разум столь же беспомощен, сколь и обычай; что общество свободных может возникнуть только в результате долгого, многообразного и мучительного опыта; и что проследить пути, которыми божественная мудрость наставила народы, научила их принимать налагаемые свободой обязательства, — не последний элемент истинной философии, повелевающей

*...благость Провиденья доказать,
Пути Творца пред тварью оправдав.¹*

Но, обнаружив перед вами всю глубину заблуждений древних, я дал бы вам в высшей степени превратное представление об их мудрости, если бы допустил впечатление, что их заповеди не были лучше их практики. В то время, когда государственные деятели, сенаты и народные собрания поставляли примеры всевозможных грубейших ошибок в политике, заявила о себе благородная литература, впитавшая бесценные сокровища политических знаний и с белошадной проницательностью выставившая напоказ недостатки институтов власти той поры. Пунктом, по которому древние более всего приблизились к единодушию, стало право народа на власть и его неспособность осуществлять эту власть в одиночку. Чтобы преодолеть эту трудность и дать народному элементу полноценное участие в управлении, не предоставляя в то же время монополии на власть, древние почти повсеместно пришли к теории смешанной конституции. Их представление о ней отличалось от нашего тем, что конституции нового времени сложились в процессе и как средство ограничения монархии, тогда как конституции древних имели

¹ Дж. Мильтон. Потерянный Рай 1, 22, — прим. переводчика.

целью обуздание демократии. Эта идея родилась во времена Платона (ее отвергавшего), когда исчезли ранние монархии и олигархии; не была она забыта и многие годы спустя, когда Римская империя поглотила все демократические общины древности. Но в то время как суверенный властитель отдает часть своей власти лишь под давлением превосходяще силы, суверенный народ отказывается от своих исключительных прав под влиянием доводов разума. Между тем во все времена наложение ограничений легче было осуществить посредством силы, чем путем убеждения.

Древние писатели ясно видели, что всякий принцип власти, взятый отдельно, тяготеет к избыточности и провоцирует ответную реакцию. Монархия ужесточается до деспотизма. Аристократические правительства превращаются в олигархические. Демократия простирается до безраздельного господства большинства. Поэтому они вообразили, что ограничивая каждый из этих элементов путем комбинирования его с другими можно повернуть вспять процесс саморазрушения и обеспечить постоянную молодость государства. Однако гармоническое слияние монархии, аристократии и демократии, представлявшееся многим из этих писателей идеалом, осуществленным, как они полагали, в Спарте, Карфагене и Риме, осталось химерой философов и не было воплощено в античные времена. Наконец, умнейший из них, Тацит, признал, что как ни замечательна смешанная конституция в теории, но построить на ее основе государство крайне затруднительно, а сохранить его — невозможно. Это невеселое признание историка не было опровергнуто и в последующие времена.

Опыт по смешению трех компонентов, которые не были известны древним, — христианства, парламентской формы правления и свободной прессы, — ставился чаще, чем можно себе вообразить. И все же не существует примера тому, чтобы таким образом сбалансированная конституция просуществовала, скажем, столетие. Если такой опыт вообще где-либо удавался, то это в нашей благословенной стране и в наше время; и мы все еще не можем сказать, как долго коллек-

тивный разум нации пожелает удержать это равновесие. Трудности федерализма были знакомы древним не хуже конституционных. Ибо по своему типу все их республики были городами и управлялись народными собраниями жителей, которые сходились для этого на городской площади. Единая администрация для многих городов была им известна только в форме иноплеменного гнета, который Спарта осуществляла над мессенцами, Афины — над союзниками, Рим — над Италией. Путей, которые в новейшее время открыли перед большими народами возможность самоуправления из единого центра, в древности не существовало. Лишь федерализм мог быть защитой и гарантией равенства, а оно чаще встречается среди древних, чем в новые времена. Если распределение власти между несколькими частями государства служит наиболее эффективным средством сдерживания монархии, распределение власти между несколькими автономными внутри федерации государствами является лучшей гарантией демократии. Умножая число центров власти и обсуждения, оно ведет к распространению политических знаний и поддержанию здорового и независимого общественного мнения. Оно покровительствует меньшинствам и освящает самоуправление. Но хотя это распределение власти должно быть названо в числе лучших достижений практического гения античности, выросло оно из необходимости, и его свойства не были в достаточной степени исследованы теоретически.

Когда греки впервые стали размышлять над общественными проблемами, они поначалу приняли вещи как они есть и постарались как можно лучше объяснить и обосновать их. Исследование, у нас стимулируемое сомнением, у них началось любопытством. Знаменитейший из ранних философов, Пифагор, развивал теорию удержания политической власти в руках класса образованных людей, прославляя и облагораживая форму правления, обыкновенно основанного на невежестве и жестком следовании классовым интересам. Он проповедовал уважение к авторитетам и субординацию, обязанностям уделял больше внимания, чем правам, религии от-

водил место более значительное, чем политике; его система прекратила свое существование вместе с олигархической формой правления, сметенной революцией. После этого революция создала свою собственную философию власти, крайности которой я уже описал.

Однако между двумя эпохами — между суровой дидактикой ранних пифагорийцев и расплывчатыми, распадающимися теориями Протагора — стоит философ, далекий от обеих крайностей, чьи трудные изречения не были должным образом поняты или оценены до нашего времени. Свою книгу Гераклит Эфесский отдал на хранение в храм Дианы. Книга погибла вместе с храмом и культом богини, но в нашем столетии фрагменты ее текста с невероятной страстью собираются и интерпретируются учеными, богословами, философами и политиками из числа тех, кто более прочих причастен к свершениям и потрясениям века. Самый прославленный логик прошлого столетия признал правоту каждого из утверждений Гераклита; а самый блестящий агитатор среди социалистов континентальной Европы сочинил в его честь труд объемом в 840 страниц.

Массы, жаловался Гераклит, глухи к правде и не знают, что один достойный человек ценится дороже тысяч; но при этом он не испытывал ни тени суеверного почтения к существующему порядку вещей. Борьба, утверждает он, есть начало всего, разногласие — всеобщий наставник. Жизнь есть вечное движение, покой есть смерть. Человек не может дважды войти в один и тот же поток, всегда текущий и потому преходящий и необратимо меняющийся. Единственная надежная, твердо установленная и определенная вещь в круговороте перемен есть универсальный и царственный разум, общий для всех людей, хотя и не всем доступный. Законы держатся не силой земной власти, но присущей им добродетелью, следующей из единого божественного закона. Эти высказывания, которые вызывают в нашей памяти грандиозный очерк политической правды книг Священного Писания и ведут нас вперед, к последним наставлениям наиболее просвещенных наших современников, следовало бы тщательно

изучить и прокомментировать. К несчастью, Гераклит настолько темен, что его не понимал Сократ, — и я не стану утверждать, что мне удалось продвинуться дальше.

Если бы темой моего обращения была история политической мысли, самого почетного места и наиболее обширного изложения в нем заслуживали бы идеи Платона и Аристотеля. *Законы* первого и *Политика* второго, если мой опыт на обманывает меня, суть книги, из которых мы можем почерпнуть главное о политических принципах. Проницательность, с которой эти древние мыслители исследовали государственные институты Греции и выявили их пороки, осталась непревзойденной и в позднейшей литературе; Берк и Гамильтон, лучшие политические писатели прошлого века, Токвиль и Рошер, наиболее выдающиеся в наши дни, — не встали выше их. Но Платон и Аристотель были философами, они занимались не изучением бесконтрольной свободы, но вопросами наилучшего, разумнейшего государственного устройства. Они видели гибельные последствия бездумной жадности свободы — и пришли к заключению, что лучше отказаться от этой жадности и жить в согласии с сильной властью, устроенной благоразумно и доставляющей людям счастье и благоденствие.

В наше время свобода и хорошее правительство не исключают друг друга; причем имеются превосходные доводы в пользу того, что они должны следовать рука об руку. Свобода не есть средство достижения более высокой политической цели. Она сама — высочайшая политическая цель. И необходима она не ради хорошей общественной администрации, но для обеспечения безопасности на пути к вершинам гражданского общества и частной жизни. Увеличение свободы в государстве может порою способствовать развитию посредственности и поставлять питательную среду предрасудку; может оно даже оттягивать принятие полезных законов, уменьшать военную мощь и ограничивать пределы империи. С полным основанием можно допустить, что если бы в Англии или Ирландии многое шло из рук вон плохо под властью разумного деспотизма, что-то при этом все же дела-

лось бы лучше, чем теперь; что римская власть была более просвещенной при Августе и Антонинах, чем под властью сената или во дни Марии и Помпея. Человек великодушный предпочтет видеть свою страну бедной, слабой и незначительной, но свободной, чем мощной, процветающей, но порабощенной. Лучше быть гражданином скромной альпийской республики, чье влияние едва ли перешагнет когда-либо за ее тесные границы, чем подданным грандиозной самодержавной монархии, под сенью которой пребывает половина Азии и половина Европы. С другой стороны, можно возразить, что свобода не суммирует в себе всего того, ради чего стоит жить, и не заменяет собою этой суммы; что круг наших возможностей ограничен действительностью и что границы этого круга меняются; что развитые цивилизации вручают государству все большее число прав и обязанностей, одновременно увеличивая тяготы и стеснения, налагаемые на подданного; что хорошо подготовленная и разумная община может высказаться за выгоды, вытекающие из навязанных ей обязательств, которые на ранней стадии представлялись бы непереносимыми; что процесс либерализации не является чем-то расплывчатым и неопределенным, но имеет целью положение, при котором на общество не налагалось бы иных ограничений, кроме самим этим обществом расцениваемых как ему благоприятствующие; что свободная страна может оказаться менее способной к утверждению религии, предотвращению общественных пороков или облегчению людских страданий, чем страна, которая не содрогнется перед необходимостью противопоставить чрезвычайным обстоятельствам концентрацию власти и известные жертвы правами личности; и что высшая политическая цель по временам должна отступать перед еще более высокой целью нравственной. Мои слова ни в чем не противоречат всем этим заслуживающим полного уважения суждениям. Мы занимаемся сейчас не следствиями свободы, а ее причинами. Мы отыскиваем идеи, позволяющие взять под контроль склонную к произволу власть — либо путем распределения земной власти, либо путем обращения к власти, стоящей над всеми зем-

ными правительствами, — и вот в смысле разработки этих идей величайшие греческие философы не предложили нам ничего, что следовало бы принять во внимание.

Именно стойки освободили человечество от подчинения деспотическим формам власти, именно их просвещенное и высокое мировоззрение перекинуло мост через пропасть, отделявшую античное государство от христианского, и проложило путь свободе. Видя, сколь мало оснований считать, что законы той или иной страны будут мудрыми и справедливыми; понимая, что единодушное волеизъявление народа и согласие наций не являются гарантией от ошибок, стойки раздвинули эти узкие границы, перешагнули существовавшие до них невысокие нормы и приблизили человечество к принципам, которые должны направлять жизнь людей и существование обществ. Они донесли до сознания людей мысль о том, что имеется воля, стоящая над волей человеческого коллектива, и закон более высокий, чем законы Солона и Ликурга. Для них критерием хорошего правительства стала мера соответствия власти принципам, восходящим к высшему законодателю. То, перед чем мы должны склониться, то, перед чем мы обязаны принизить все гражданские власти, чему должны принести в жертву всякий земной интерес, есть непреложный закон, совершенный и вечный, как сам Бог, исходящий из Его божественной сущности, повелевающий небу, земле и всем народам.

Важнейший вопрос состоит не в том, чтобы выяснить, что правительства предписывают, а в том, что они *должны* предписывать; ибо всякое предписание теряет силу, если противоречит человеческой совести. Перед Богом нет ни грека, ни варвара, ни богатого, ни бедного, и раб во всем равен своему господину, ибо по рождению все люди свободны; они — граждане всемирной республики, обнимающей всю землю, единое братство, единая семья детей божиих. Праведный наставник нашего поведения — не внешняя власть, но нисходящий к нам и живущий в наших душах глас Бога живого, знающего все наши помыслы, подателя всей правды, которую мы постигли, и всего добра, которое мы творим; ибо по-

рок происходит от нашего произвола, а добродетель дается нам от духовной благодати небесной.

Философы, усвоившие возвышенную этику Портика, подхватили и всесторонне развили учение, исходящее от этого божественного голоса. От них мы слышали, что недостаточно строго следовать письменным законам или отдавать должное каждому человеку; мы должны отдавать людям больше, чем им причитается, быть великодушными и милосердными, посвятить себя добродетели и служению людям, действовать, руководствуясь сочувствием, а не личной выгодой, находя свою награду в самоотречении и жертве. С другими мы должны поступать так же, как хотим, чтобы другие поступали с нами; до самой смерти мы должны продолжать творить добро нашим врагам, не помня о низости и неблагодарности. Ибо наш долг — сражаться со злом, но быть в мире с людьми, и лучше нам принять страдание, нежели совершить несправедливость. Подлинная свобода, учат наиболее последовательные из стоиков, заключается в покорности Богу. Государство, управляемое подобными принципами, было бы много свободнее государств, созданных греками и римлянами, ибо эти принципы идут навстречу религиозной терпимости и отрицают рабство. По Зенону, ни война, ни деньги не могут сделать одного человека собственностью другого.

Выдающиеся правоведы империи усвоили эти идеи и стали руководствоваться ими. Писанные законы, заявили они, стоят ниже закона естественного, — и рабство противоречит ему. Люди не вправе по своей прихоти распоряжаться тем, что им принадлежит, или наживаться на потерях других. В этом — политическая мудрость древних, затрагивающая самые основания свободы. Такою она предстает нам в своих высших достижениях — в трудах Цицерона, Сенеки и александрийского еврея Филона, авторов, которые донесли до нас итоги великого труда человеческой мысли, подготовившего почву для евангельской проповеди и завершеного незадолго до начала миссии апостолов. Блаженный Августин, процитировав Сенеку, спрашивает: «Что еще христианин может добавить к словам этого язычника?» Когда испол-

исполнились времена, просвещенные язычники вплотную подошли к последнему пределу, еще достижимому без нового откровения. Мы видели широту и блеск эллинистической мысли, которая подвела нас к порогу более совершенного мира. Величайшие из поздних классиков по существу говорят языком христианства, прикасаются к его духовности.

И, однако же, во всем, что я смог процитировать из классической литературы, не хватает трех вещей: представительного правительства, полного освобождения рабов и свободы совести. Правда, существовали выборные совещательные органы; верно и то, что объединения союзных городов, во множестве имевшихся в Азии и Африке, посылали своих представителей в федеральные советы. Но власть избранного парламента была в принципе неизвестна. Некоторая терпимость заложена в природе политеизма. Сократ, провозглашающий, что долг повелевает ему следовать воле Бога, а не афинян, и стоики, для которых мудрость была выше закона, почти готовы были сформулировать этот принцип. Однако впервые он был открыто заявлен и положен в основу законодательства не в политеистической философствующей Греции, но в Индии, за 250 лет до рождества Христова, — первым из буддийских царей Ашокой.

Рабство, еще в большей мере, чем нетерпимость, оставалось неизменным позором античной цивилизации, и хотя его правомерность была поставлена под сомнение уже во времена Аристотеля, а затем если не с полной определенностью, то неявно, отрицалась стоиками, в целом нравственная философия греков и римлян, так же точно, как и их практика, решительно высказывалась в пользу рабовладения. Но существовал один необычайный народ, который и здесь, так же точно, как и в других вещах, предвосхитил ту совершенную заповедь, которой предстояло появиться. Филон Александрийский был из числа мыслителей, державшихся самых передовых взглядов на общественные проблемы. Он выступал не только за свободу, но и за равенство достоинства. Он верил, что ограниченная демократия, очищенная от наиболее грубых ее элементов, является лучшей формой правле-

ния и со временем распространится по всему миру. Под свободой он понимал следование воле Всевышнего. Филон не осуждал рабства вполне и окончательно, а лишь требовал, чтобы положение раба соотнобразовывалось с его высшими духовными запросами. Но он записал и тем сделал известными обычаи ессеев, секты, жившей в Палестине и соединявшей античную мудрость с еврейской верой. Селившиеся в пустыне, ессеи первыми отвергли рабство как в принципе, так и на практике. Своей государственности у ессеев не было; они представляли собою религиозную общину, численностью не превосходившую четырех тысяч человек. Но их пример показывает, сколь совершенная концепция общества может утвердиться среди людей глубоко религиозных даже и без вспомоществования Нового Завета, при жесточайшем осуждении современников.

Наш обзор, таким образом, приводит нас к следующему: едва ли в политике или системе прав человека имеется правда, не понятая во всей полноте мудрейшими из мыслителей античного мира и евреями, или правда, не возвещенная ими миру с той утонченностью ума и благородством языка, которых не удалось превзойти и авторам позднейших веков. Я мог бы часами читать вам извлечения из античных авторов о естественном праве и обязанностях человека, — извлечения столь возвышенные и проникнутые религиозным чувством, что хотя они дошли до нас из языческого театра у стен Акрополя и с римского Форума, вам могло бы показаться, что вы слышите церковные песнопения, псалмы или пастырские напутствия святых угодников церкви. Но при всем том, что слова великих учителей классической древности, таких как Софокл, Платон или Сенека, равно как и прославленные примеры человеческой добродетели, были в то время на устах у всех, они не обладали силой, способной отвратить роковую судьбу этой цивилизации, в напрасную жертву которой были принесены жизни столь многих благородных патриотов и труды возвышенного гения стольких непревзойденных писателей. Свободы древних не устояли под натиском безнадежного и неизбежного деспотизма; их жизненные силы

были растрчены к тому моменту, когда из Галилеи явилась новая сила, несущая людям то давно вожделенное и насущное человеческое знание, которое и для человека, и для общины открывает путь к спасению и искуплению.

С моей стороны было бы самонадеянностью пытаться указать все те бесчисленные пути, которыми влияние христианства постепенно пронизывало государство. Первым поражающим обстоятельством является та медлительность, с которой заявило о себе в мире движение, изначально столь грандиозное. Опыт народов на различных этапах цивилизации и практически при всевозможных правительствах показывает, что ни в одном из своих проявлений христианство не брало на себя задач политического апостольства и, в своей всепоглощающей занятости преобразованием личности, не бросало вызова общественной власти. Ранние христиане избегали контактов с государством, не принимали государственных должностей, даже не желали служить в армии. Ледея свое гражданство в царстве не от мира сего, они перестали связывать какие-либо надежды с империей, казавшейся слишком сильной, чтобы с нею бороться, и слишком погрязшей в пороках, чтобы ее обращать, — с империей, чьи институты, итог и гордость многих столетий язычества, возводили свои полномочия к воле богов, которых христиане почитали бесами; с империей, из века в век обогравшей свои руки кровью святых мучеников, не имеющей надежды ни переродиться, ни избежать своего губительного предопределения. В своем благоговейном страхе ранние христиане воображали, что падение империи будет одновременно падением церкви и концом света; никто тогда не мог и помыслить о том безграничном влиянии, духовном и общественном, которым их вера обнаружит себя среди племен разрушителей, в те дни повергавших в унижение и обращавших в руины империю Августа и Константина. Обязанности государства в их глазах значили меньше личной добродетели и обязанностей подданных; и многие и многие годы нужны были для того, чтобы власть, сосредоточенную в их вере, они осознали как тяжкое бремя. Вплоть до эпохи Иоанна Златоуста они

удаляли от себя всякое размышление, подводящее к необходимости освободить рабов.

Хотя доктрина личной ответственности и самоотвержения, лежащая в основании политической экономии, записана в Новом Завете столь же отчетливо, как в *Богатстве народов*, до нашего времени этого никто не замечал. Тертуллиан гордится пассивной покорностью христиан. Мелито пишет к языческому императору так, как если бы тот был вообще неспособен к несправедливости; и даже уже в христианские времена Опат полагал, что если кто-либо осмеливается найти недостаток в его суверене, то он заносится до того, чтобы считать себя почти равным Богу. Но этот политический квиетизм не был универсален. Ориген, способнейший из ранних писателей, оправдывал заговор как средство низвержения деспотии.

Начиная с пятого столетия речи против рабства звучат все более страстно, все более настойчиво. В теологическом же смысле, пусть еще в зачаточном состоянии, уже богословы второго столетия требовали свободы, а богословы четвертого столетия — равенства. В политике происходило существенное и неизбежное преобразование. Были известны народные правительства, правительства смешанные и федеральные, но не было правительств ограниченных, не было государства, круг власти которого определялся бы внешней по отношению к нему силой. Такова была великая проблема, поднятая философией, но оказавшаяся не под силу ни одной государственной системе. Те, кто свидетельствовал о высшей власти и уповал на ее помощь, в действительности воздвигали метафизический барьер перед правительством, — но они не знали, как сделать этот барьер реальностью. У Сократа был лишь один способ противостоять тирании реформированной демократии: умереть за свои убеждения. Стоики могли только советовать мудрецу держаться в стороне от политики, храня неписанный закон в своем сердце. Но вот явился Христос и сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Эти слова, произнесенные Им во время Его последнего посещения храма, за три дня до Голгофы, поставили граж-

данскую власть под защиту совести, вручили ей святость, которой она никогда не обладала, и положили границу, которой она никогда не сознавала. Эти слова были отвержением абсолютизма и освящением свободы. Ибо Господь наш дал нам не только заповедь, но и силу исполнить ее. Ограждать неприкосновенность верховной сферы, сводить всякую политическую власть к известным границам — все это перестало быть уделом мечтаний терпеливых увещавателей, но в качестве постоянной ответственности и заботы было возложено на самый действенный из институтов на земле, на самую универсальную из человеческих общностей. Новый закон, новая духовность, новая власть — сообщили свободе смысл и ценность, которыми она никогда не обладала в философии или конституциях Греции или Рима, до уяснения человечеством той истины, которая делает нас свободными.

СВОБОДА В ХРИСТИАНСКУЮ ЭПОХУ ¹

Когда Константин Великий перенес центр империи из Рима в Константинополь, на рыночной площади новой столицы он установил вывезенную из Египта порфирную колонну, о которой сохранилось странное предание. Говорят, что под основанием колонны имеется потайной склеп, в котором император велел положить семь сакральных эмблем римской государственности, прежде находившихся в храме Весты, под неусыпным присмотром весталок, при неугасимом огне. На вершине колонны была воздвигнута статуя, в облике Аполлона представлявшая самого императора, с фрагментом креста и в диадеме, лучами которой служили гвозди из распятия Христова, найденные, как верила мать императора, в Иерусалиме.

Колонна стоит до сих пор, по сей день являя собою самый выразительный памятник обращенной в христианство империи; ибо самое представление, что гвозди, некогда пронзившие тело Христа, могут стать подходящим обрамлением чела языческого идола, коль скоро он олицетворяет собою ныне здравствующего императора, как нельзя лучше указывает на положение, отведенное христианству в структуре

¹ Прочитана 28 мая 1877 года перед членами Бриджнортского института.

империи Константина. Попытка Диоклетиана преобразовать Римскую империю в восточную деспотию увенчалась последними и самыми жестокими гонениями на христиан; Константин, принимая христианство, вовсе не собирался оставлять политической схемы своего предшественника или жертвовать соблазнами ничем не стесненной власти, — он хотел лишь укрепить императорский трон поддержкой религии, ошеломившей мир силой своего сопротивления, заручиться этой поддержкой безраздельно; чтобы ничто этому не препятствовало, он и перенес центральные учреждения империи с Запада на Восток — и назначил патриарха по своему выбору.

Никто не предупредил императора, что открывая двери христианству, он связывает одну из своих рук и отказывается от прерогатив Цезарей. Поскольку он избавил христианство от гонений и вознес его над прочими религиями, к Константину обращались как к блюстителю единства церкви. Он принял на себя это обязательство и взялся оправдать доверие христиан; а та разобщенность, которая господствовала в ранних христианских общинах, в изобилии дала его преемникам возможности расширять сферу этой отеческой заботы и пресекать всякие посягательства или поползновения, направленные на снижение полномочий императорской власти.

Константин объявил свою волю равносильной церковному канону. Согласно Юстиниану, римский народ официально передал императорам всю полноту своей власти, так что всякое императорское соизволение, независимо от того, было ли оно явлено в форме указа или письма, имело полную силу закона. Даже в наиболее пылкую и ревностную пору после принятия христианства всю свою утонченную цивилизацию, все впитанные ею наставления древних мудрецов, все выверенное благоразумие изошренных римских законов и во всей полноте взятое наследие еврейского, языческого и христианского миров империя употребляла на то, чтобы заставить церковь служить позлащенной подпоркой абсолютизма. Ни просвещенная философия, ни политичес-

кая мудрость Рима, ни даже самая вера и добродетель христиан ничего не могли поделать с этой неискоренимой античной традицией. Требовалось нечто, идущее дальше всякого дара логического мышления и всякого опыта — способность к самоуправлению и самоконтролю, сложившаяся, как язык складывается в недрах народа, и растущая вместе с народом. Этот знак, в результате многих столетий войн, анархии и гнета заглохший в странах, все еще хранивших остатки великолепных драпировок античной цивилизации, уронил зерно в почву стран христианского мира благодаря живительным волнам переселений, опрокинувших Западную римскую империю.

В расцвете своей мощи римляне узнали о племенах, не отказавшихся от своей свободы, не вручивших ее монархам; одареннейший из авторов империи, указав на них с чувством замешательства и горечи, предрек, что государственным институтам этих еще несломленных деспотизмом варваров принадлежит будущее мира. Их короли, когда у них были таковые, не председательствовали в их советах, — по временам королей выбирали, по временам смещали; и они были связаны клятвой повиноваться воле народа. Настоящей властью короли пользовались только на войне. Этот примитивный республиканизм, изредка и в качестве временного исключения допускавший водворение монархии, но в целом крепко державшийся принципа коллективной власти всех свободных членов общины, и был зачатком парламентского правительства. Свободе действий государства были положены тесные пределы; но в качестве главы государства король был постоянно окружен группой приверженцев, привязанных к нему узами личными и политическими. В этой среде людей, непосредственно зависевших от короля, неповиновение или сопротивление приказам было столь же немыслимо и нетерпимо, как со стороны женщины, ребенка или солдата; считалось, что человек должен убить своего собственного отца, если таково будет требование вождя. Так эти тевтонские общины допустили возникновение независимости правительства, грозившей расколом обществу, и зависимости

личности, что подвергало опасности дело свободы. Это была система, в высшей степени благоприятная для корпораций, но ни в чем не гарантировавшая прав личности. Государство не собиралось угнетать своих подданных — но было неспособно и защитить их.

Великое переселение тевтонских народов в цивилизованные Римом страны поначалу лишь отбросило Европу назад — в положение, едва ли многим лучшее того, из которого законы Солона вызволили Афины. В то самое время как греки сохранили литературу, искусство и науку античности и все священные памятники христианства в полноте, о которой не дают должного представления дошедшие до нас отрывочные фрагменты; в то время как даже болгарские крестьяне знали наизусть Новый Завет, — Западная Европа оказалась во власти хозяев, способнейшие из которых не могли написать своего имени. Умение точно наблюдать и отчетливо мыслить угасло на целые пять столетий, и даже такие насущнейшие науки, как медицина и геометрия, находились в полном упадке до той поры, пока учителя Запада не поступили на правах учеников в школу к арабским наставникам. Чтобы внести порядок в хаотические руины, чтобы воздвигнуть новую цивилизацию и слить враждующие и непохожие племена в единую нацию, требовалась не свобода, но сила. И вот на столетия всякий прогресс оказался связан с деятельностью людей типа Хлодвига, Карла Великого или Вильгельма Завоевателя, решительных, властных, не терпящих возражений и умеющих быстро добиться повиновения.

Дух уходящего в незапамятную древность язычества, пронизывавший общество раннего средневековья, мог быть вытравлен только соединенными усилиями церкви и государства; повсеместное и всеобщее представление о неизбежности этого союза привело к возникновению византийского деспотизма. Отцы церкви Восточной империи, не умевшие представить себе неугнетенного христианства за ее границами, утверждали, что не государство находится внутри церкви, но церковь — внутри государства. Это представление не могло не поколебаться, когда стремительное крушение За-

падной Римской империи раздвинуло политический горизонт. И вот марсельский священник Сальвиан заявил, что общественные добродетели, сходявшие на нет среди цивилизованных римлян, обретаются в большей чистоте и сулят лучшие всходы среди языческих захватчиков. Последние были быстро и беспрепятственно обращены в христианство, по большей части — своими же королями.

Христианство, которое на ранних своих этапах было обращено к массам и уповало на принцип свободы, теперь сделало ставку на правителей — и бросило свое мощное влияние на весы политической власти. Варвары, не имевшие ни книг, ни секулярного знания, ни образования за пределами школ духовенства, и едва ли обладавшие хотя бы зачатками религиозного просвещения, по-детски последовали за людьми, обогащенными знанием священного писания, трудов Цицерона и Блаженного Августина; в ограниченном мире их идей церковь ощущалась как нечто бесконечно более значительное, могущественное и святое, чем их недавно возникшие государства. Священники доставляли средства направлять новые правительства — и в награду были освобождены от налогов, от подчинения гражданскому закону и политической администрации. Они учили, что средством передачи власти являются выборы — и вот советы Толедо наметили контуры испанской парламентской системы, которая является старейшей на земле. Но и готское королевство в Испании, и саксонская монархия в Англии, в которых знать и прелаты окружали трон подобием свободных институтов, отошли в прошлое. На прочих территориях господствовали и преуспевали не имевшие своей национальной знати франки, чей закон о престолонаследии на тысячелетие стал постоянным объектом суеверия и под властью которых непомерно развилась феодальная система.

Феодализм сделал землю мерой и началом всего. Не имея другого источника благосостояния, кроме произведений земли, люди зависели от того, в чьих руках было средство избежать голода: от землевладельца, — так власть феодала возвысилась над свободой подданного и властью государ-

ства. Каждый барон, гласит французское изречение, полно-властный хозяин в своих владениях. Народы Запада оказались зажатыми между соперничавшими тираниями местных магнатов и абсолютных монархов. В это время на сцену выступила иная сила, на время в равной мере вставшая над властью вассала и его повелителя.

Во дни норманнского завоевания, по мере того как пришельцы разрушали прежние английские свободы, приходил конец примитивным институтам, привнесенным саксами, готами и франками из лесов Германии, — между тем новый элемент народоправства, впоследствии поддержанный ростом городов и формированием среднего класса, еще не в достаточной степени обнаружил себя. Единственной силой, способной противостоять феодальной иерархии, была иерархия церковная; и когда процесс развития феодализма зашел так далеко, что под угрозой оказалась независимость церкви, а прелатов ожидала та степень личной подчиненности воле королей, которая характерна для тевтонского государства, — церковь пошла на столкновение.

Этому противоборству, длившемуся четыреста лет, мы обязаны возникновением гражданской свободы. Если бы церковь продолжала оставаться опорой тронов, на которые королей возводило церковное помазание, или если бы борьба закончилась быстрой и безраздельной победой, — вся Европа потонула бы в деспотизме византийском или московском. Ибо целью обеих борющихся партий было абсолютное господство. И хотя свобода отнюдь не была тем итогом, ради которого они усердствовали, но она оказалась средством, к которому мирская и духовная власти прибегали, когда им требовалось призвать народы себе на помощь. В ходе этого соперничества города Италии и Германии завоевали свои привилегии, Франция — Генеральные штаты, Англия — Парламент. До тех пор, пока эта борьба не утихала, она препятствовала появлению помазанника божьего. Установилось правило, согласно которому корона рассматривалась как пожизненное владение, в соответствии с законом о реальной собственности переходящее по наследству от старшего к

младшему представителю одной и той же фамилии. Но авторитет религии и, в особенности, папства был той противодействующей силой, которая отрицала неотчуждаемость королевского титула. Во Франции впоследствии возникло галликанское движение, утверждавшее, что правящий дом стоит выше закона, и скипетр должен принадлежать семье до тех пор, пока не прервалась династическая линия, то есть существует принц, в жилах которого течет королевская кровь Людовика Святого. Но в других странах уже самая присяга короля на верность свидетельствовала о безусловности его власти, сохраняющей законность лишь пока король ведет себя подобающим образом; и как раз в соответствии с общественным законом, предписывавшим правила обхождения монарха с подданными, король Иоанн восстал против баронов, а человек, вернувший Эдуарда III на престол, с которого бароны свергли этого короля, процитировал давнее изречение *vox populi vox Dei*.

Заручившись санкцией церкви, учение о священном праве народа возводить и низвергать государей приобрело под собою прочное основание, — сильное настолько, чтобы противостоять одновременно церкви и королю. В борьбе дома Брюсов с домом Плантагенетов за обладание Шотландией и Ирландией притязания Англии получили поддержку Рима. Но ирландцы и шотландцы отвергли их, и обращение, в котором шотландский парламент извещает папу о своем решении, показывает, как глубоко пустила корни эта народная доктрина. О Роберте Брюсе члены парламента писали: «Святое Провидение, законы и обычаи страны, за которые мы готовы положить жизнь, а также народное избрание — поставили его нашим королем. Если бы он когда-либо изменил своим принципам и согласился отдать нас в подданство английскому королю, мы обошлись бы с ним как с врагом, как с ниспровергателем наших и своих собственных прав, и выбрали бы на его место другого. Мы печемся не о славе или богатстве, но о той свободе, которой ни один достойный человек не отдаст иначе как вместе с жизнью.» Такое отношение к королевской власти было естественным для людей, привык-

ших видеть тех, кто пользуется их наибольшим уважением, в беспрестанной борьбе с правителями. Свои нападки на гражданскую власть Григорий VII начал заявлением о том, что вся она — бесовский умысел; но уже в его время обе партии вынуждены были признать суверенитет народа и обращаться к нему как к непосредственному источнику власти.

Двумя столетиями позже эта политическая теория обрела одновременно и определенность, и мощь — в выражавшей интересы церкви партии гвельфов и в стоявшей за империю партии гибеллинов. Вот слова знаменитейшего писателя из числа гвельфов: «Король, изменивший своему долгу, лишается права требовать повиновения. Сместить его — не бунт, ибо сам он бунтовщик, которого народ вправе низвести с престола. Но лучше урезать его власть, чтобы он не имел возможности злоупотребить ею. Для этого весь народ должен иметь свою долю в управлении страной; конституция должна сочетать выборную и ограниченную монархию с аристократией духа и такой примесью демократии, которая путем народных выборов открывала бы представителям всех классов доступ к государственным должностям. Ни одно правительство не имеет права взysкивать налоги выше предела, определенного народом. Всякая политическая власть вытекает из народного одобрения, все законы должны быть творением народа или его представителей. Ничто не гарантирует нашей безопасности до тех пор, пока мы зависим от воли другого человека.» Этот язык, содержащий наиболее раннее изложение впоследствии принятой вигами теории революции, взят из сочинений св. Фомы Аквинского, о котором лорд Фрэнсис Бэкон сказал, что этот богослов был самым душевным из схоластов. Тут следует заметить, что Фома Аквинский писал как раз в то время, когда Симон де Монфор созывал первый английский парламент, и что политические убеждения неаполитанского монаха на несколько столетий предвосхитили взгляды английского государственного мужа.

Одареннейшим писателем среди гибеллинов был Марсилиус Падуанский. «Законы, — говорил он, — получают

свою моральную власть от народа и теряют силу без его одобрения. Поскольку целое всегда больше части, то и несправедливо, чтобы какая бы то ни было часть предписывала законы целому; а поскольку люди равны, то несправедливо, если человек связан законами, созданными другим человеком. Лишь при подчинении законам, являющимся результатом всеобщего согласия, люди на самом деле управляют собою. Монарх, учрежденный законодательной властью для осуществления ее воли, должен быть наделен силой, достаточной для подавления индивидов, но недостаточной для господства над большинством народа. Он ответственен перед народом и подчинен закону; народ, назначивший его и вверивший ему его обязанности, должен видеть, что он соблюдает конституцию, и вправе сместить его, если он нарушит ее. Права граждан не зависят от исповедуемой ими религии; никто не может быть наказан за свою веру.» Этот писатель, в отдельных своих положениях более прозорливый, чем Локк и Монтескье, а в понимании верховной власти народа, представительного правительства, свободы совести и первенства законодательной власти над властью исполнительной державшийся принципов столь высоких, что мог бы быть властителем дум современности, жил в царствование Эдуарда II — 550 лет назад.

Знаменательно, что эти два писателя сходились во мнениях по столь многим основополагающим вопросам, ставшим с тех пор предметом бесконечного спора; ибо они принадлежали к враждующим школам, и один из них, пожалуй, счел бы другого достойным смерти. Св. Фома Аквинский, будь его воля, поставил бы все христианские правительства под контроль папского престола. Марсилиус же подчинил бы духовенство законам страны и ограничил бы его как в собственности, так и в числе. Когда разгорелся этот исторический спор, многие вещи шаг за шагом прояснились и переросли в устоявшиеся убеждения. Ибо носители пророческого дара не только превосходили современников строем своей мысли, но и могли при некотором стечении обстоятельств взять в свои руки практическую жизнь. Средневековое са-

мовластье баронов находилось под серьезной угрозой. Крестовые походы открыли перед Европой Восток, дав тем самым мощный толчок промышленности. Из сельскохозяйственных местностей люди устремились в города, между тем феодальная система не оставляла места городскому самоуправлению. Когда люди открыли способ зарабатывать на жизнь, не завися при этом от доброй воли класса землевладельцев, значение последних резко пошло на убыль, все более переходя к обладателям подвижного капитала. Горожане не только освободились от контроля прелатов и баронов, но в качестве класса попытались занять наиболее выгодное и руководящее положение в государстве.

Четырнадцатое столетие наполнено сумятицей борьбы между демократией и рыцарством. Итальянские города, наиболее развитые и цивилизованные, прокладывали путь другим, создавая демократические конституции идеального и, вообще говоря, неосуществимого типа. Швейцарцы сбросили австрийское ярмо. В самом сердце Германии, в долине Рейна, протянулись две внушительные цепочки свободных городов. Парижане отвоевали часть королевских владений, преобразовали государство — и положили начало череде своих потрясающих опытов по управлению Францией. Но из всех стран континента, с незапамятных времен непревзойденного в своей упорной приверженности принципу самоуправления, самый здоровый и решительный рост муниципальных свобод наблюдался в Бельгии. Столь огромны были скрытые силы, сосредоточенные во фламандских городах, столь широким было в них демократическое движение, что в течение долгого времени оставалось неясным, не возьмет ли верх новый класс, не отойдет ли господство военной аристократии к богатству и интеллекту тех, кто живет ремеслом и торговлей. Но Риенци, Марсель, Артевельде и другие лидеры неокрепшей демократии тех дней, жили и умирали напрасно. С выявлением и подъемом среднего класса под ним вскрылись нужды, упования и стремления страдающей бедноты; свирепые восстания во Франции и в Англии повлекли за собою реакцию, которая на столетия замедлила перераспределение

власти; на пути демократии вырос кровавый призрак социальных революций. Вооруженные граждане Гента были сокрушены французским рыцарством; от плодов протекавших в обществе и будораживших умы перемен в положении классов — вкусила лишь монархия.

Если окинуть взглядом пространство тысячелетия, которое мы именуем средними веками, и попытаться оценить проделанную этими веками работу, продвинувшую нас в сторону пусть не усовершенствования их институтов, но по крайней мере постижения смысла политики, то вот что мы обнаружим: неизвестное в античные времена представительное правительство было в средневековой Европе явлением почти всеобщим. Методы выборов были грубы; но принцип, согласно которому ни одно налогообложение не является законным до тех пор, пока оно не признано платящим налог классом, — иначе говоря: что налогообложение неотделимо от представительства налогоплательщиков в органах власти, — этот принцип был осознан и признан, притом не как привилегия отдельных стран, а как право каждого народа. Ни один из государей земли, заявил Филипп де Коммин, не смеет взыскать с народа ни гроша без народного согласия на то. С рабством почти всюду было покончено; абсолютизм почитался еще менее терпимым и более преступным, чем рабство. Право на восстание не только допускалось сознанием, но прямо понималось как освященная религией обязанность. Известны были даже принципы подоходного налога и неприкосновенности личности. Итогом античной политической системы было возвращенное на рабстве абсолютистское государство. Политическим произведением средних веков явилась система государств, в которых власть была ограничена представительством сильных классов, привилегированными ассоциациями — и осознанием долга, высшего по отношению к любым обязательствам, налагаемым человеком.

Так что в смысле практического уяснения добра почти все имелось в наличии. Но вслед за разрешением принципиальных трудностей мы приходим к вопросу: как шестнадца-

тое столетие распорядилось тем сокровищем, которое собрали для него средние века? Тут в качестве приметы времени более всего бросается в глаза падение влияния религии, столь долго царившей в обществе. Шестьдесят лет должно было пройти после изобретения книгопечатания, 30 тысяч книг сошло с печатных станков Европы, прежде чем человеку пришло в голову предпринять издание Священного Писания по-гречески. В былые дни, когда каждое государство прежде всего заботилось о единстве веры, обыкновенно полагали, что права человека и обязанности по отношению к нему соседей и правителей зависят от его религиозной принадлежности; по отношению к турку или еврею, язычнику, еретику, или ведьме, правящей обедню черту, общество брало на себя отнюдь не такие же обязательства, как по отношению к добропорядочному христианину. По мере ослабления влияния религии возрастала роль государства, которое объявило своей привилегией и поставило на службу своей выгоде право руководствоваться исключительными принципами по отношению к своим врагам. На политическую сцену выступил Макиавелли, провозгласивший, что преследуемые государством цели оправдывают любые средства их достижения. Проницательный политик, он был искренне и страстно заинтересован в том, чтобы смести прочь все препятствия к установлению в Италии разумного правления. И вот ему явилась мысль, что самым досадным препятствием на пути разума является совесть, и что правительства будут лишены всякой возможности прибегать к деятельному искусству управления, необходимому для успешного разрешения труднейших государственных задач, если позволят себе руководствоваться мешающими в политической жизни прописными истинами.

Дерзкая доктрина Макиавелли была в последующие эпохи подхвачена людьми незаурядными. Они увидели, что в критические времена достойный человек не часто находит в себе силу для проявления своего великодушия; что ему обыкновенно приходится уступать тем, кто руководствуется изречением «не разбив яиц, нельзя сделать яичницу». Они

увидели, что между нормами общественной и частной нравственности имеется существенная разница, ибо ведь ни одно правительство никогда не станет подставлять для пощечины другую щеку и не допустит мысли о том, что милосердие выше справедливости. Определить существо этой разницы и положить границу исключениям они не могли, — как не знали иного мерила делам народа, кроме того успеха, которым будто бы небо изъявляет свой суд земным трудам человеческим.

Учение Макиавелли едва ли выдержало бы проверку парламентаризмом, ибо общественное обсуждение требует по меньшей мере исповедания религии добра. Но учение это сообщило громадный заряд энергии абсолютизму, заставив замолчать совесть искренне веровавших королей и почти уравнивая добро и зло. Карл V назначил цену в пять тысяч крон за убийство своего врага. Фердинанд I и Фердинанд II, Генрих III и Людовик XIII — каждый из этих монархов запятнал себя вероломной расправой с наиболее могущественным из своих подданных. Мария Стюарт и Елизавета старались погубить друг друга. Путь торжествующей абсолютной монархии был проложен ценой утраты духа и институтов лучшей эпохи, и не отдельными злодеяниями, но с помощью детально разработанной философии преступления и столь тщательного извращения нравственного чувства, подобного какому мир не знал с той поры, как стойки в корне преобразовали моральные устои язычества.

Духовенство, столь многообразно служившее делу свободы на протяжении своей вековой борьбы против феодализма и рабства, теперь взяло сторону королевской власти и поставило себя ей на службу. Попытки реформировать церковь на основе конституционной модели провалились и лишь сплестили интересы духовной иерархии и трона в их борьбе против системы разделения власти как общего их врага. Самовластным королям Франции и Испании, Сицилии и Англии было под силу подчинить своей воле духовное начало. Французский абсолютизм складывался в течение двух веков усилиями двенадцати поглощенных политикой кардиналов.

Короли Испании добились того же практически одним ударом, возродив и поставив себе на службу уже сходящий со сцены трибунал инквизиции — и с помощью вызванного им к жизни террора по существу превратившись в деспотов. На глазах одного поколения вся Европа перешла от анархии дней Алой и Белой роз к страстной покорности, к молчаливому довольству тиранией, ознаменовавшей царствование Генриха VIII и современных ему королей.

Воды быстро прибывали, когда в Виттенберге началась Реформация — и появились основания ожидать, что влияние Лютера остановит этот наплыв абсолютизма. Ибо Лютеру повсюду противостоял тесный союз церкви и государства, а значительнейшая часть Германии управлялась владетелями, которые были одновременно и прелатами римского двора. На деле Лютер имел больше оснований опасаться вражды не духовных, а светских князей. Ведущие епископы Германии склонялись к тому, чтобы уступить требованиям протестантов, и сам папа тщетно взывал к императору, побуждая его держаться политики примирения. Но Карл V объявил Лютера вне закона и преследовал его, а герцоги Баварии свирепо расправлялись с его учениками: рубили им головы, жгли их на кострах, — в то время как демократия городов почти повсеместно взяла сторону реформатора. Однако ужас перед революцией был самым сильным из политических чувств Лютера, а глянec благообразия, которыми гвельфские богословы покрыли бездеятельную покорность апостольской эпохи, были характерной чертой того средневекового мышления, которое он отвергал. Хотя в свои последующие годы он однажды и отходил от этого, все же сущность его учения была в высшей степени консервативна; лютеранские государства сделались оплотами суровой неподвижности, лютеранские писатели постоянно клеймили демократическую литературу, возникшую на втором этапе Реформации. Клеймить было кого: швейцарские реформаторы решительнее немецких приносили свои взгляды в политику. Цюрих и Женева были республиками, и дух их правительств оказал влияние как на Цвингли, так и на Кальвина.

При этом Цвингли был не чужд средневековой доктрины, предписывавшей низложение злых властителей; но он погиб слишком рано, не успев оказать более глубокого и устойчивого воздействия на политический характер протестантства. Что же касается Кальвина, то этот протестант рассудил, что народ не в состоянии управлять собою, идею представительного органа называл вздорной и оскорбительной, а само это собрание считал подлежащим роспуску. Он стоял за власть избранной аристократии, наделенной правом карать не одни только преступления, но также грехи и ошибки. Он полагал, что суровость средневековых законов недостаточна для нужд его времени, и был сторонником самого свирепого из средств, которые инквизиция вручила государству: права подвергать заключенных жесточайшим пыткам, притом не в качестве наказания за вину, а для доказательства вины. Но и его учение, вовсе не рассчитанное на то, чтобы благоприятствовать институтам народной власти, было насыщено такой враждой к власти монархов соседних стран, что во французском издании своего *Наставления в христианской вере* он вынужден был несколько смягчить выражения, в которых излагал свои политические взгляды.

Непосредственное политическое влияние Реформации было не столь действенным, как полагали. Большинство государств оказалось достаточно сильным, чтобы удержать это движение в известных границах. Некоторые преградили ему дорогу путем чрезвычайного напряжения сил. Другие с поразительным мастерством сумели поставить его на службу своим целям. Одно только польское правительство осталось в эту эпоху безучастным к движению, позволив ему следовать своим путем. Шотландия стала единственным королевством, где Реформация торжествовала несмотря на сопротивление со стороны государства; Ирландия оказалась единственной страной, где Реформация провалилась вопреки поддержке со стороны государства. Но почти во всех прочих случаях как государи, под штормом развернувшие свои паруса, так и властители, грудью встретившие штормовой ветер, использовали вызванные движением фанатизм, смятение и

страсти как рычаги для укрепления своего господства. Народы с готовностью вручали князьям любые исключительные полномочия для охраны своей веры, при этом в разгаре борьбы отбрасывалась прочь всякая забота о том, чтобы сохранить завоеванное кровью и потом целых эпох разделение церкви и государства, предотвратить слияние и смешение их власти и функций. Совершались жестокости, орудием которых часто выступала религиозная страсть, в то время как побуждением их была политика.

Фанатизм проявляется в народных массах, но массы не часто приходят в состояние фанатизма, так что приписываемые взрывам народных страстей преступления сплошь и рядом были расчетливыми действиями бесстрастных политиков. Когда король Франции задался целью поголовно истребить протестантов, он был вынужден использовать для этого своих агентов. Нигде резня не носила характера самопроизвольных действий населения, а во многих городах и в целых провинциях местные власти отказались повиноваться королевскому приказу. Мотивы двора были так далеки от действительного фанатизма, что французская королева немедленно предложила Елизавете Английской сходным образом расправиться с жившими в Англии католиками. Франциск I и Генрих II живьем сожгли около ста гугенотов — и в то же самое время они были сердечными друзьями и усердными покровителями протестантства в Германии. Сэр Николас Бэкон был одним из тех государственных деятелей, которые вводили в Англии запрет на мессу. И, однако же, когда здесь появились в качестве беженцев французские гугеноты, в его отношении к этим единоверцам было так мало симпатии, что он напомнил парламенту, как поступил король Генрих V с французами, которые попали в его руки под Ажинкурром. Джон Нокс полагал, что всякий католик в Шотландии должен быть предан смерти, и ни у кого никогда не было более непреклонных и безжалостных учеников, — однако его совету не последовали.

В эпоху религиозного конфликта политика неизменно брала верх над религией. Когда умер последний из великих

реформаторов, религия, вместо того, чтобы раскрепостить народы, стала служить оправданием изощренным преступлениям деспотов. Кальвин проповедовал, Беллармин читал лекции, царствовал — Макиавелли. Незадолго до конца века произошли три события, отметившие начало значительных перемен. Бойня Варфоломеевской ночи убедила массы кальвинистов в законности восстаний против тиранов, сделала их горячими сторонниками и защитниками этого учения, которому путь прокладывал тогда винчестерский епископ¹ — и которое Нокс и Бьюкенен, при посредстве своего парижского декана, получили по линии прямой преемственности от средневековых школ. Усвоенное благодаря отвращению к французскому королю, оно скоро было обращено против короля испанского. Торжественным актом мятежные Нидерланды низложили Филиппа II и провозгласили свою независимость, поставив во главе своего государства принца Оранского, который и до этого именовался, и после этого продолжал именоваться королевским наместником. Их пример был важен не только тем, что подданные одной страны отказались повиноваться монарху другой (такое уже видели в Шотландии), но еще и тем, что на место монархии он водворил республику — и вынудил европейское международное право признать совершившуюся революцию. В то же самое время французские католики, восставая против Генриха III, самого презренного из тиранов, и против его преемника Генриха Наваррского, в качестве протестанта не принимаемого большинством народа, шпагой и пером сражались за те же принципы.

Книги, выпущенные в защиту этих принципов, могут составить целую библиотеку, и в их ряду — самые исчерпывающие сочинения из когда-либо написанных в области права. Но почти все они отмечены недостатком, портящим политическую литературу средневековья. В целом эта литература, как я попытался показать, в высшей степени замечательная, сослужила громадную службу развитию человечнос-

¹ Пойнет, в своем *Трактате о политической власти*, — прим. автора.

ти. Но со смерти св. Бернарда и до появления *Утопии* сэра Томаса Мора едва ли найдется автор, не поставивший своих политических воззрений и сочинений на службу либо папе, либо одному из королей. И те, кто явился после Реформации, всегда рассматривали всякий закон как установление, затрагивающее интересы либо католиков, либо протестантов. Нокс метал громы и молнии против того, что он называл *Чудовищным ополчением женщин*, — ибо королева ходила к мессе, а Мариана восхваляла убийцу Генриха III, короля, заключившего союз с гугенотами. Ибо убеждение в том, что убийство тиранов оправдано, которому, я полагаю, первым среди христиан стал учить замечательнейший из английских писателей двенадцатого века Джон из Солсбери, убеждение, подтвержденное затем в трудах Роджера Бэкона, самого прославленного англичанина тринадцатого столетия, приобрело к этому времени поистине роковое значение в обществе. Никто искренне не считал политику делом закона, определяющего, что справедливо, а что нет, никто не пытался отыскать принципы, которые должны удерживать представление о добре неизменным, каким бы переменам ни подвергалась религия. Среди трудов, о которых я говорю, *Духовная политика* Хукера стоит почти в полном одиночестве, и по сей день мыслящий человек с восхищением читает этот наиболее ранний и один из самых прекрасных образцов нашей классической прозы. Но хотя немногие из прочих трудов того времени уцелели, они вносят свой вклад в ту преемственность, в ту традицию передачи из рода в род суровых представлений об ограниченности власти и обусловленности подданства, которая протянулась от эпохи разработки теории к поколениям, достигшим подлинной свободы. Даже примеры грубого насилия, связываемые с Бьюкененом и Буше, есть звено в длинной цепи традиции, которая соединяет Гильдебранда с Долгим Парламентом, св. Фому Аквинского — с Эдмундом Берком.

Понимание того, что правительства существуют отнюдь не в силу божественного права; что правительство произвола есть нарушение божественного права, несомненно, было

средством против той болезни, от которой чахла Европа. Но хотя уяснение этой истины могло стать элементом спасительной катастрофы, оно мало чем могло способствовать прогрессу или реформам. Сопротивление тирании не подразумевает способности к созданию на ее месте законного правительства. Быть может, виселица и полезная вещь, но все же лучше, чтобы преступник жил для покаяния и исправления. Принципы, отделяющие в политике добро от зла и сообщающие смысл дальнейшему существованию государства, еще не были найдены.

Французский философ Шаррон был в числе людей, наименее удрученных расколом общества, наименее ослепленных фанатической приверженностью к своему пониманию правды. В словах, почти текстуально повторяющих слова св.Фомы, он пишет о нашем подчинении закону естественно-го права, которому должно следовать и удовлетворять любое законодательство; причем его к этому привел не свет религиозного откровения, но голос универсального разума, посредством которого Бог просвещает человеческую совесть. Над этим основанием Гроций наметил контуры подлинной политической науки. Собирая воедино материалы международного права, он должен был перешагнуть границы национальных договоров и конфессиональных интересов, ибо доискивался принципа, обнимающего все человечество. Принципы законности, заявляет он, должны оставаться незыблемыми даже и в том случае, если мы допустим, что Бога нет. Этими неосторожными словами он хотел сказать, что принципы права должны быть найдены независимо от откровения. С этого момента появилась возможность сделать политику делом принципа и совести, тем самым дав возможность жить в мире друг с другом людям и народам, во всем прочем расходящимся, но признающим над собою власть и авторитет общего закона. Сам Гроций распорядился своим открытием не лучшим образом, лишив его непосредственной действительности оговоркой о том, что право на престол может быть наследственным и безусловным.

Когда Камберленд и Пуфендорф развернули с подобающей полнотой подлинное значение этой доктрины, от нее в страхе отшатнулись все обладатели прочной власти, все победившие партии. Никто не хотел поступаться своими преимуществами, завоеванными силой или способностями, притом не во имя десяти библейских заповедей, а во имя некоего неизвестного кодекса, за создание которого не взялся сам Гроций, затрагивающего предмет, по поводу которого любые два наугад выбранные философа расходятся во мнениях. Заявляли, что все, для кого наука политики есть дело совести, а не могущества, практической целесообразности и выгоды, могут рассматривать своих врагов как людей беспринципных; что спор между ними всегда будет подразумевать вовлечение нравственности и не сможет быть разрешен призывами к добродетели, посулами и уверениями в добрых намерениях, всегда смягчающими жестокости религиозной борьбы. Почти все великие люди семнадцатого столетия отвергли это новшество. Наоборот, в восемнадцатом столетии две идеи Гроция, — именно, что существуют некие политические истины, которых должны придерживаться каждое государство и каждая группа, образованная общим интересом, ибо отказ от них равнозначен краху государства или группы, и что общество связано рядом установленных и подразумеваемых внутренних соглашений, — стали тем рычагом, который перевернул мир. Когда королевская власть (как полагали, проявлением некоего непреодолимого и неизменного закона) возобладала над всеми своими врагами и конкурентами, она стала своего рода религией. Ее старинные соперники, бароны и прелаты, теперь выступали на ее стороне. Год за годом собрания, представлявшие в странах континента органы самоуправления провинций или привилегированных классов, повсюду собирались в последний раз и уходили со сцены, — к удовольствию тех, кто приучился благоговеть перед тронем как оплотом их единения, благосостояния и власти, защищающим установившееся благочестие и дающим работу талантам.

Бурбоны, вырвавшие корону из рук мятежной демокра-

тии, Стюарты, пришедшие к власти как узурпаторы, — утвердили учение, согласно которому государство формируется доблестью, политикой и надлежащими браками королевской фамилии; что король естественным образом предшествует народу, являясь скорее его творцом, чем его творением, и что он царствует независимо от общественного согласия. Богословие с пассивной покорностью придало законченность учению о божественном происхождении королевской власти. В золотой век религиозной науки наиболее образованный из англиканских прелатов архиепископ Ашшер и талантливейший из французов Боссюэ объявили преступлением всякое сопротивление королевской воле и провозгласили, что король на законном основании может использовать принуждение против подданных, действующих исходя из принципов своей веры. Философы от всего сердца поддержали богословов. Фрэнсис Бэкон не отделял своей надежды на человеческий прогресс от сильной королевской власти. Декарт советовал королям сокрушать всех, кто только мог оказать им сопротивление. Гоббс учил, что власть всегда права. Паскаль находил нелепым изменять законы или отстаивать идеальную справедливость в противовес реальной силе. Даже Спиноза, республиканец и еврей, вручал государству абсолютную власть в вопросах религии.

В отличие от не слишком церемонившихся с сюзеренами средних веков, теперь монархия завладела умами настолько, что люди умирали от потрясения, услышав о казни Карла I, а спустя полтора века — Людовика XVI или герцога Энгиенского. Классической землей абсолютной монархии была Франция. Ришелье полагал, что людей невозможно удержать в повиновении, если им было позволено вкушать достатка. Канцлер утверждал, что нельзя управлять Францией, лишив власть права по своему усмотрению брать под стражу и высылать кого вздумается, и что ради предотвращения угрожающей государству опасности можно без всякого сожаления пожертвовать жизнями ста ни в чем неповинных людей. Министр финансов назвал дерзким подстрекательством к мятежу утверждение, будто монарх должен строго соблю-

дать религиозные предписания. По словам одного из людей, близких к Людовику XIV, малейшее неповиновение королевской воле есть преступление, которое должно караться смертью. Людовик вполне и безусловно опирался на эти заповеди. Он чистосердечно признавал, что короли не в большей степени связаны обязательствами договора, чем словами комплимента; и что их подданные не располагают ничем таким, чего бы монарх не мог присвоить себе на вполне законном основании. Когда маршал Вобан, утраченный бедственным положением народа, посоветовал королю аннулировать все существовавшие на тот момент налоги, заменив их одним не столь тягостным, король воспользовался его советом в точном соответствии с этим принципом: ввел новый налог, удержав все старые. При населении, составлявшем половину теперешнего, он содержал армию в 450 тысяч человек, то есть почти вдвое более многочисленную, чем та, которую покойный император Наполеон III собрал для своего нападения на Германию. Между тем народ голодал, перебиваясь подножным кормом. По словам Фенелона, Франция представляла собою одну сплошную больницу. Французские историки полагают, что только в одном поколении шесть миллионов человек умерло от нищеты. Нетрудно указать тиранов более необузданных, свирепых и отвратительных, чем Людовик XIV, но не было ни одного, причинившего своей властью столько страдания и наделавшего столько ошибок; и тот восторг, который он сумел внушить своим самым прославленным современникам, отмечает собою нижнюю границу вырождения, до которого порочность абсолютизма низвела совесть Европы.

Республики того времени в большинстве своем управлялись так, словно бы их правительства задались целью убедить людей, что пороки монархии не столь уж вопиющи. Польша была начинена центробежными силами. Своими вольностями дворянство именovalo право налагать вето, которым каждый шляхтич мог свободно воспользоваться в Сейме, и право свободно угнетать крестьян в своем имении. Этими правами шляхта отказывалась поступиться вплоть до

раздела Польши, тем самым оправдав слова старинного пророческого предостережения: «Вы погибнете не от вторжения или войны, а из-за своих бесовских свобод.» Венеция страдала противоположным недугом: чрезмерным сосредоточением исполнительной власти. Это было пронизательнейшее из всех правительств, и оно не часто бы ошибалось, если бы не приписывало другим мотивов поведения столь же глубоких, как его собственные, и брало в расчет свойственные человеку страсти и глупости, о которых само имело лишь смутное представление. Но верховная власть знати перешла здесь к комитету, от него — к Совету Десяти, от него — к трем государственным инквизиторам, и в этом своем доведенном до крайности сосредоточении обрела к 1600 году все признаки устрашающего деспотизма. Я показал вам, как Макиавелли снабдил монархию безнравственной теорией, столь необходимой для придания последней завершенности королевскому абсолютизму; абсолютистская олегархия Венеции нуждалась в том же самом обеспечении против восстания совести. И вот ей на помощь явился автор столь даровитый как Макиавелли, исследовал нужды и ресурсы аристократии, и сообщил, что лучшим в смысле достижения безопасности средством является яд. Спустя целое столетие после этого венецианские сенаторы, люди весьма достойной и даже праведной жизни, нанимая ради общественного блага убийц, испытывали при этом не большие угрызения совести, чем Филипп II или Карл IX.

Швейцарские кантоны, в особенности Женева, оказали большое влияние на общественное мнение накануне Французской революции, но в процесс водворения власти закона, в ту пору только начавшийся, они своего вклада не внесли. Из всех республик эта честь безраздельно принадлежит одним только Нидерландам. Они заслужили ее не формой своего правительства, весьма далекой от совершенства и крайне ненадежной, ибо партия дома Оранских постоянно строила против него заговоры и умертвила двух благороднейших из республиканских деятелей, между тем как сам Вильгельм III доискивался английской помощи, имея в виду не нужды

республики, а английскую корону. Они заслужили это свободой печати, превратившей Голландию в оплот гласности, откуда в свои тяжелейшие минуты угнетенные могли обратиться к Европе и быть услышанными.

Указ Людовика XIV о том, что все французские протестанты должны немедленно перейти в католичество, вышел в год вступления на престол Якова II. Протестантские беженцы сделали то же, что их предки столетие назад: они заявили о праве подданных не признавать над собою власти правителя, нарушившего исходное соглашение между сторонами, — и все государства Европы, исключая Францию, утвердили и одобрили этот довод — и отправили Вильгельма Оранского в ту экспедицию, которая стала неяркой зарей, занявшейся в преддверии сияющего дня.

Своим освобождением Англия обязана не столько собственным заслугам, сколько беспрецедентному стечению обстоятельств на континенте. Усилия, положенные шотландцами, ирландцами и, наконец, Долгим Парламентом, на то, чтобы избавиться от пагубного правления Стюартов, были сорваны не вследствие сопротивления монархии, а вследствие беспомощности республики. Государство и церковь были сметены; возникли новые институты под властью самого даровитого руководителя, когда-либо выдвинутого революцией; и Англия, занятая напряженнейшей работой политической мысли, произвела по крайней мере двух писателей, которые видели события с той же отчетливостью, с какою мы их видим сейчас. Но конституция Кромвеля была скатана в рулон, как свиток; Гаррингтона и Лилберна какое-то время осмеивали, а потом забыли, страна признала свое поражение в этой борьбе, сложила оружие, и с воодушевлением, без каких-либо существенных оговорок и условий, повергла себя к стопам никчемного короля.

Если бы это было все, что английский народ сделал для освобождения от распространявшегося гнета неограниченной монархии, можно было бы сказать, что он причинил больше зла, чем принес добра. Когда в ходе слепого и вероломного бунта, надругавшись над Парламентом и поправ

закон, англичане ухитрились предать смерти короля Карла; когда появилась эта непристойная выходка Мильтона — написанный по латыни памфлет, оправдывающий совершившееся перед народами мира; когда они убедительно показали миру, что республиканцы одинаково враждебны по отношению к свободе и к власти, и сами в себя не верят, — англичане тем самым дали веские доводы и реальную силу роялистскому движению, которое, вместе с торжеством реставрации, захлестнуло и перечеркнуло всю их работу. Если бы не было сделано ничего для искупления такого рода недобросовестности и непостоянства в политике, Англия попросту последовала бы путем других народов.

В эту пору определенно можно было бы усмотреть некую долю истины в старом анекдоте, выражающем английскую нелюбовь к спекулятивным построениям; согласно этому анекдоту вся наша философия сводится к катехизису из двух вопросов и ответов, именно: «Что есть разум? Ничего существенного. Что существенно? Не бери в голову.»¹ Единственной надежной опорой представлялась традиция. Патриоты обыкновенно говорили, что они твердо держатся старинных обыкновений и не желают изменения английских законов. Для подкрепления своих доводов они ссылались на сочиненную ими легенду, согласно которой уложение было получено из Трои — и что сами римляне позволили британцам сохранить его нетронутой. Но подобного рода басни не помогали против графа Страффорда; и не всякое обращение за примерами к прошлому служило делу народа — некоторые вредили ему. Это с несомненностью вскрылось в таком первостепенном вопросе как вопрос религии, ибо опыт шестнадцатого, а с ним и пятнадцатого столетия, свидетельствует о преобладании нетерпимости. По королевскому указу в течение жизни одного поколения народ четырежды переходил из одной веры в другую — с легкостью, роковым образом подействовавшей на воображение архиепископа

¹ Непереводаемая игра слов; в подлиннике: What is mind? No matter. What is matter? Never mind.

Лода. В стране, которая каждую из религий в свой черед ставила вне закона, которая с покорностью вынесла столь разнообразные меры наказания против лоллардов и ариан, против Аугсбурга и Рима, обрезать уши пуританам представлялось делом совершенно безопасным.

Но вслед за тем пришла эпоха более твердых убеждений, и люди решились отбросить те старинные обыкновения, которые приводили на эшафот и дыбу, и самую мудрость предков и уставы страны заставить склоняться перед неким неписанным законом. Религиозная свобода была мечтой великих христианских авторов эпохи Константина и Валентиниана, мечтой, так и не воплотившейся в империи — и грубо рассеянной, когда варвары обнаружили, что она превосходит их разумение и делает для них непосильной задачу управления цивилизованными народами другой веры, — после чего единство вероисповедания было установлено кровавыми законами и учениями, еще более свирепыми, чем эти законы. Но от св. Афанасия и св. Амвросия до Эразма Роттердамского и Томаса Мора достойнейшие люди каждой эпохи возвышали голос протеста во имя свободы совести, так что самый воздух мирных дней, предшествовавших Реформации, уже был насыщен обещанием ее торжества.

В последовавшую затем эпоху потрясений люди бывали рады, когда им удавалось добиться терпимости по отношению к себе путем привилегий и компромиссов; они добровольно отрекались от более широкой трактовки принципа свободы совести. Первым, кто провозгласил необходимость универсальной религиозной терпимости на основе отделения церкви от государства, был Сосий. Но он обезоружил свое же собственное учение, ибо строжайшим образом отстаивал пассивное послушание властям.

Уяснение того, что религиозная свобода есть созидательное начало свободы гражданской, тогда как гражданская свобода есть необходимое условие религиозной, стало открытием, выпавшим на долю семнадцатого столетия. За многие годы до того, как произнесенное по случаю и не носившее общего характера осуждение нетерпимости прославило имена

Мильтона и Тейлора, Бакстера и Локка, в конгрегациях индепендентов уже были люди, горячо и деятельно приверженные тому положению, что лишь ограничение власти государств может обеспечить свободу вероисповеданий. Эта великая политическая мысль, освящающая свободу и посвящающая ее Богу, внушающая людям, что необходимо дорожить свободами других как своими собственными и защищать их скорее во имя любви к справедливости и милосердию, чем во имя осуществления одного из человеческих прав, — эта мысль стала душой всего доброго и великого, что дал человечеству прогресс последних двух столетий. Дело религии, даже под тлетворным веянием мирской страсти, должно было совершить работу, не уступающую работе других осознанных политических представлений, для того чтобы превратить эту страну в передовой отряд свободных людей. Оно было самым глубинным течением в движении 1641 года — и оно же осталось самым сильным побуждением, пережившим реакцию 1660 года.

Лучшие публицисты вигов, Берк и Маколей, неизменно представляли в своих сочинениях государственных деятелей революции как законных прародителей свободы нового времени. Унизительно возводить свою политическую родословную к Элджернону Сиднею, который был платным агентом французского короля; к лорду Расселу, который возражал против религиозной терпимости по меньшей мере так же решительно, как против абсолютной монархии; к графу Шафтсбери, который с помощью клятвопреступника Тита Оутса омыл свои руки кровью невинных жертв резни, устроенной в связи с инспирированным «папским заговором»; к Галифаксу, настаивавшему, что веру в заговор следует поддержать даже в том случае, если он мнимый; к герцогу Мальборо, который в походе предательством послал своих товарищей по оружию на верную смерть, попросту выдав их французам; к Локку, чьи понятия о свободе не содержали ничего более возвышенного, чем неприкосновенность собственности, и уживались с рабством и гонениями; или даже к Эддисону, который воображал, что лишь в его

единственной стране существует право устанавливать налоги путем голосования. Дефо утверждает, что от царствования Карла II до царствования Георга I он не знал ни одного политика, который был бы действительно верен той или иной партии; порочность политиков, возглавлявших борьбу против поздних Стюартов, на целое столетие отбросило назад дело прогресса.

Когда зародились подозрения, что Людовик XIV тайным договором обязался оказать Карлу II военную помощь для уничтожения парламента на условии низвержения последним англиканской церкви, то нашли необходимым успокоить народ, сделав уступку охватившей его тревоге. Было предложено, что по вступлении на престол брата Карла, Якова, значительнейшая часть королевских прав и прерогатив будет передана парламенту. Одновременно должны были быть сняты ограничения в правах с католиков и членов сект, отколовшихся от англиканской церкви. Если бы этот Билль об Ограничениях, при поддержке которого Галифакс обнаружил столько дарования и энергии, и в самом деле прошел, то уже в семнадцатом столетии была бы установлена более прогрессивная конституционная монархия, чем та, которой суждено было возникнуть во второй четверти девятнадцатого века. Но враги Якова во главе с принцем Оранским предпочитали наделенного практически абсолютной властью короля-протестанта связанному конституцией королю-католику, и план провалился. Так что когда после смерти брата Яков вступил на престол, он получил власть, которая в руках более осмотрительного человека превратилась бы в неограниченную; но буря, в итоге сбросившая его с трона, уже начинала собираться за морем.

Положив предел всемогуществу Франции, революция 1688 года нанесла первый удар деспотизму на континенте. В Англии она несколько смягчила религиозный раскол, укрепила законность, способствовала народному развитию — и законом о престолонаследии вручила в конце концов народу право возложения короны. Но она не выявила никакого определяющего принципа, и хотя теперь обе партии могли рабо-

тать вместе, революция ни в чем не затронула основополагающего вопроса, разделявшего вигов и тори. Вместо королевского священного права, права помазанника божьего, она установила, по словам Дефо, священное право собственников, господство которых простирается с этих пор на семьдесят лет вперед, утверждаемое авторитетом Джона Локка, философа власти торжествующих джентри. Даже Юм не раздвинул границ его представлений; и его узкая материалистическая вера в неразрывность свободы и собственности захватила даже более дерзкий ум Фокса.

Своей идеей о том, что полномочия государства должны подразделяться в соответствии с их природой, а не в соответствии с разделением на классы, идеей, которую Монтескье подхватил и развил со всей силой своего совершенного дарования, Локк положил начало долговому господству английских установлений в заморских землях. А его учение о сопротивлении, или, как он в итоге обозначил ее, апелляция к небу, вела графа Чатема и направляла его суждения в момент серьезнейшего перехода в мировой истории. Наша парламентская система, руководимая представителями возвеличившихся в революцию семей, была пагубной выдумкой, при которой голосующих вынуждали, а законодателей побуждали, голосовать против своих убеждений; при этом запугивание избирателей вознаграждалось коррупцией избранных. Политическое развитие обратилось вспять, и это попятное движение различными косвенными путями привело к тому, что около 1770 года состояние дел было едва ли многим лучше того, ради окончательного избавления от которого была задумана революция. Казалось, что Европа неспособна стать родиной свободных государств. Именно из Америки пришло к нам ясное сознание того, что каждый человек должен прежде всего заниматься своим делом — и что народ ответственен перед небом за действия своего государства. Эта мысль, заключенная в латинских фолиантах, десятилетиями вынашивавшаяся в сердцах одиноких мыслителей, в итоге обрела свое имя — *права человека* — и вырвалась на свет, который ей предназначено было покорить и

преобразовать. Исходя из буквы закона, трудно указать, откуда британская законодательная власть взяла, что она имеет конституционное право взимать налоги с колоний. Но общие предпосылки были в громадной степени на стороне власти, да и в целом мир, разумеется, полагал, что не воля подданного, а воля правителя является верховной. Очень немногие мыслители осмеливались допустить, что в крайних обстоятельствах подданные вправе оказать сопротивление законной власти. Но вот американские колонисты, которые пересекли океан не в погоне за выгодой, но из нежелания жить под властью законов, приемлемых для прочих англичан, оказались настолько чувствительны даже к внешней стороне дела, что, например, у пуритан Коннектикута *Синие законы* запрещали мужчине, идущему в церковь, находиться при этом ближе чем в десяти футах от своей жены. Налогообложение, о котором шла речь, составляло всего 12 тысяч фунтов стерлингов в год, то есть было вполне посильным. Но те же самые причины, по которым Эдуарду I и его совету не было позволено взимать налоги с Англии, говорили, что Георг III и его парламент не должны взимать налогов с Америки. В споре был затронут принцип, именно: право воздействия на правительство. Более того, в нем присутствовало уверенность в том, что парламент, составившийся в результате смехотворных выборов, не имеет законных прав над вовсе не представленной в нем нацией, — поэтому английскому народу и было предложено отказаться от своих притязаний. Наш лучший политический деятель видел, что каков бы ни был закон, под угрозой оказались права народа. В своих речах, запомнившихся более всех речей, когда-либо произнесенных в парламенте, Чатем призывал Америку к твердости. Лорд Кэмден, бывший лорд-канцлер, сказал: «Налогообложение неразрывно связано с представительством. Это — божественное установление. Никакой британский парламент не может отделить одно от другого.»

Используя элементы этого кризиса, Берк построил благороднейшую на свете философию. «Я не знаю пути, — сказал он, — который позволил бы возвести обвинение на

целый народ. Естественные права человечества священны, и если установлено, что некоторая общественная мера оказывает на них вредное влияние, такое препятствие означает приговор этой мере даже и в том случае, если ни одна хартия не может быть ей противопоставлена. Повелевать должен лишь суверенный разум, стоящий на всяким законодательством и над любой администрацией.» Так ровно сто лет назад были, наконец, сломлены молчаливый оппортунизм и политическая нерешительность европейской государственности, и утвердился принцип, согласно которому нация никогда не должна оставлять свою судьбу в руках власти, которую она не в силах контролировать. Американцы положили этот принцип в основание своего нового государства. Они сделали нечто большее: подчинив все формы гражданской власти воле народа, они окружили волю народа ограничениями, которых не допустила бы британская законодательная власть.

Во время французской революции пример Англии, так долго остававшийся образцовым, в какой то момент оказался не в состоянии соперничать с влиянием страны, институты которой столь мудро и основательно защищали свободу даже от опасности со стороны демократии. Став королем, Луи-Филипп заверил старого республиканца Лафайета, что не знает лучшей формы правления, чем республика, — и что он убедился в этом на собственном опыте, побывав в Соединенных Штатах. Это было около пятидесяти пяти лет тому назад, во время президенства Монро, до сих пор называемого «эпохой добрых чувств», когда большинство оставшихся от Стюартов несообразностей было уже преобразовано, а поводы для новых раздоров в обществе еще не заявили о себе. Причина несчастий старого света — народное невежество, нищета, разительный контраст между положением богатых и бедных, религиозные распри, общественные долги, постоянные армии и войны, — все это здесь было почти неизвестно. Ни в один век и ни в одной стране сопровождающие рост свободных обществ трудности не разрешались столь успешно, — и успех этот не получил развития в последующие эпохи.

Но я уже исчерпал мое время, так практически и не добравшись до начала поставленной перед собою задачи. В те эпохи, о которых я говорил, история свободы была историей того, чего нет. Однако со времени Декларации независимости, точнее говоря, со времени, когда лишившиеся короля испанцы устроили для себя новое правительство, те две единственные известные формы государственности, которые обеспечивают свободу, — республиканская и конституционно-монархическая — установились во множестве стран мира. Было бы интересно проследить реакцию Америки на монархии, достигшие такой же, как она, независимости; посмотреть, как внезапный подъем политической экономии внушает идею приложения научных методов к искусству управления; как Людовик XVI, признав, что деспотизм бесполезен и не годится даже на то, чтобы сделать людей счастливыми против их воли, призвал народ осуществить оказавшееся непосильным для короля, тем самым отдавая свой скипетр среднему классу, в то время как мыслящие французы, с содроганием оглядываясь на ужасы своего исторического опыта, боролись за то, чтобы не допустить повторения прошлого, спасти своих детей от происков князя тьмы и вызвать живущих из страшных объятий мертвых, — пока благоприятнейшая возможность из когда-либо открывавшихся миру не была упущена из-за страсти к равенству, погубившей надежды на свободу.

Мне следовало бы показать вам, что то же самое намеренное отвержение нравственного кодекса, которое сглаживало пути абсолютной монархии и олегархии, свидетельствовало и о появлении у демократии притязаний на неограниченную власть, — явление, в котором один из выдающихся демократов открыто признал замысел, направленный на растление нравственного чувства людей с целью подрыва влияния религии, в то время как один знаменитый апостол просвещения и проповедник терпимости высказывал пожелания увидеть последнего короля, удушенного кишкой последнего священника. Я бы постарался объяснить связь между учением Адама Смита о том, что труд есть источник

всякого благосостояния, и сделанным из него выводом, что лишь производители материальных благ и составляют народ, — выводом, с помощью которого Сьейес надломил и развратил историческую Францию; показать, что данное Руссо определение общественного договора как добровольной ассоциации равных с неизбежностью и весьма коротким путем привело Марата к утверждению, будто беднейшие классы по праву самозащиты освобождены от условий контракта, который несет им только страдания и смерть; что они находятся в состоянии войны с обществом и имеют полное право приобретать все что им вздумается, уничтожая богатых, и что их непоколебимая теория равенства, главное наследие Революции, вместе с открыто признаваемой неготовностью экономической науки всерьез приняться за проблему бедных, возрождает мысль об обновлении общества на основе того самого принципа самопожертвования, который был источником высокого вдохновения эссеистов и ранних христиан, отцов церкви, богословов и монахов, самого прославленного предшественника Реформации — Эразма, самого знаменитого из ее мучеников — сэра Томаса Мора, самого популярного из епископов — Фенелона, но который в течение сорока лет этого возрождения неизменно ассоциировался с завистью, ненавистью и массовым кровопролитием, а сейчас является опаснейшим из врагов, притаившихся на нашем пути.

Наконец, последнее и самое важное. Сказав так много о неблагоразумии наших предков, обнаружив бесплодность судороги, которая смела то, чему они поклонялись, и рядом с горой пороков монархии взгромозила в точности такую же гору пороков республики; показав, что законность, отвергавшая революцию, и империализм, увенчавший ее, были не более чем масками одного и того же элемента насилия и заблуждения, — я должен был бы (если хочу, чтобы мое сегодняшнее обращение не осталось без некоторых выводов и морали) рассказать, кем и в какой связи был обнаружен истинный закон формирования свободного государства и как это открытие, тесно родственное тем, которые под именами раз-

вития, эволюции и непрерывности, дали новый и более глубокий метод другим наукам, разрешило древнее противоречие между потребностью в стабильности и необходимостью перемен и установило власть традиции над прогрессом мысли; как теория, которую сэръ Джеймс Макинтош выразил словами: «конституции не делаются — они вырастают»; теория, согласно которой законы творятся обычаем и национальными качествами управляемых, а не волей правительства, так что на самой нации, являющейся источником своих собственных соприродных ей институтов, лежит постоянная ответственность за их целостность и чистоту, а также обязанность приводить форму в соответствие с духом, — как эта теория, в результате редкостного сотрудничества чистого консервативного разума с кровавой революцией, — Нибура с Мадзини, — была направлена на выработку идеи национального самоопределения, которая в гораздо большей мере, чем идея свободы, управляет движением нашего века.

Прежде, чем закончить, я хотел бы привлечь ваше внимание к тому знаменательному обстоятельству, что значительная часть тяжелой борьбы, работы мысли, выносливости и терпения, вложенных в дело освобождения человека от человеческой власти, принадлежит нашим соотечественникам и их преемникам в других странах. Не меньше, чем другим народам, нам пришлось бороться против волевых и властных монархов, опиравшихся на ресурсы своих зарубежных владений, против людей редкостных способностей, против целых династий прирожденных тиранов. И все же это почетное первенство отчетливо выделяется на фоне нашей истории. Уже норманны поколения завоевателей вынуждены были вопреки своей воле признать притязания английского народа. Когда борьба между церковью и государством докатилась до Англии, наши священнослужители научились связывать себя с делом народа; за немногими исключениями, ни иерархический дух зарубежных богословов, ни характерная для французов склонность к монархии не стали специфическими чертами трудов мыслителей английской школы. Гражданское право, унаследованное от выродив-

шейся империи и повсюду ставшее опорой абсолютистской власти, в Англии отсутствовало. Было обуздано и церковное право, в результате чего в эту страну не была допущена ни инквизиция, ни даже в полной мере применение пыток, окружившее таким количеством ужасов королевскую власть на континенте. В конце средневековья иностранные мыслители в своих трудах признают наше превосходство и указывают на его причины. В последующий период наши джентри удержали средства локального самоуправления, каких не было ни в одной другой стране. Религиозные расколы вынудили общество руководствоваться терпимостью. Отсутствие единообразия в общем праве научило людей понимать, что лучшей гарантией существования является независимость и беспристрастная честность их судей.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ¹

Повсюду, где работа мысли соединялась со страданиями, неотделимыми от широкомасштабных перемен в народной жизни, люди впечатлительные и склонные к умозрительным построениям измышляли совершенные общества, в которых они искали если не панацею от общественных зол, то утешение в страданиях, причину которых устранить не могли. Поэзия всегда лелеяла мечту о некоем уголке земли, отодвинутом в неопределенную даль во времени или в пространстве, отнесенном на Западные острова или в Аркадию, где простодушные и безмятежные люди, свободные от коррупции и равнодушные к благам цивилизации, воплотили легенду о золотом веке. Назначение и строй мыслей поэтов почти всегда одинаковы, и созданные ими картины идеального мира мало рознятся между собой; однако когда наставлять или перестраивать человечество путем измышления воображаемых государств принимаются философы, их побуждения носят более определенный и непосредственный характер, и их общество всеобщего согласия оказывается столько же образцом, сколько и сатирой. Платон и Плотин, Мор и Кампанелла строили свои фантастические общества из кирпичей, отсутствовавших в здании тех реальных

¹ Home and Foreign Review, июль 1862.

общин, недостатки которых побуждали их к этому труду. Их *Республика, Утопия* и *Город Солнца* были вызовом положению вещей, которое они, исходя из своего опыта, осуждали и от недостатков которого искали прибежища в противоположной крайности. Влияния эти труды не оказали и из литературы в политику не перешли, ибо для придания политической идее реальной власти над массами требуется нечто большее, чем недовольство и умозрительная изобретательность. Выдуманная философом схема может стать руководством к действию только для фанатиков, но никак не для народа; и хотя угнетение способно вновь и вновь вызывать свирепые вспышки насилия, напоминающие конвульсии человека, страдающего от резкой боли, оно не в состоянии сформировать надежной цели и наметить путей обновления, если осознание существующего зла еще не соединилось с новым представлением о счастье.

История религии дает этому исчерпывающую иллюстрацию. Между сектами позднего средневековья и протестантизмом имеется существенная разница, перевешивающая аналогии, о которых полагают, что они — предвестники Реформации, и сама по себе вполне достаточная для объяснения жизнестойкости Реформации сравнительно с сектами. В то время как Уиклиф и Гус отрицали некоторые стороны католицизма, Лютер отверг власть церкви и дал совет каждого человека ту независимость, которая не могла не вести к непрестанному сопротивлению. Подобная же разница имеется между восстанием Нидерландов, английским Великим мятежом, американской Войной за независимость или Брабантской революцией, с одной стороны, — и Французской революцией, с другой. До 1789 года восстания провоцировались частными несправедливостями и оправдывались определенными жалобами и апелляцией к общечеловеческим принципам. В ходе борьбы порою выдвигались новые теории, но в целом они были случайны, так что величайшим доводом против тирании была верность древним законам. После перемены в умах, произведенной Французской революцией, вызванные к жизни пороками социального

устройства устремления превратились во всем цивилизованном мире в постоянно действующие силы. Не нуждающиеся ни в пророке для их провозглашения, ни в выдающемся поборнике для их защиты, эти порывы самопроизвольны, агрессивны, народны, безрассудны и почти непреодолимы. Революция осуществила перемену в умонастроениях частью через свои доктрины, частью через косвенное влияние, оказанное ходом событий. Она научила людей рассматривать их желания и нужды как верховный критерий права. Быстрое чередование власти, при котором каждая партия ищет расположения масс как вершителей и хозяев успеха и находит у них поддержку, приучила массы к неповиновению и произволу. Частое падение правительств и перераспределение территорий лишили все соглашения достоинства нерушимости. Традиции и предписания перестали быть стражами и попечителями власти; наконец, порядки, возникшие в ходе революций, военных триумфов и мирных договоров, так же ни во что не ставили освященные временем права. Обязанности неотделимы от прав, и народы отказываются подчиняться законам, переставшим защищать их.

При таком состоянии дел в мире теория и практика шли бок о бок, и злободневные пороки общества беспрепятственно вели к возникновению оппозиционных систем. Там, где царствует свобода воли, регулярность естественного прогресса охраняется столкновением крайностей. Реакция бросает людей из одной крайности в другую. Преследование отнесенной в неопределенную даль идеальной цели, пленяющей воображение своим великолепием, а разум — простотой, вызывает к жизни энергию, которой никогда бы не вдохнула в людей разумная и достижимая цель, всегда стесняемая множеством противоборствующих притязаний, связанная представлениями здравого смысла, осуществимости и справедливости. Там, где речь идет о массах, один переизбыток или преувеличение служит коррективной другой, одна ошибка уравнивает другую, так что в итоге они способствуют выявлению истины. Немногим не под силу великие перемены без посторонней помощи; многим — не хватает мудрости

руководствоваться беспримесной истиной. Если болезнь изменчива и многообразна, ни одно конкретное средство не может удовлетворить нуждам всех. Лишь привлекательность абстрактной идеи совершенного государства способна свести в едином порыве человеческие множества, ищущие универсального лекарства от самых разных и конкретных зол и пороков, во имя общего и ко всевозможным условиям приложимого оздоровления. Отсюда следует, что ложные принципы, равно соотносенные с дурными и достойными стремлениями рода человеческого, являются нормальными и необходимыми составляющими общественной жизни народов.

Построения этого рода справедливы в той мере, в какой они вызваны ясно установленными пороками и направлены на их устранение. Они играют полезную роль в оппозиции, ибо служат предостережением и угрозой, побуждая улучшать существующее положение вещей и постоянно напоминая о присутствии заблуждения. Они не могут служить основанием для перестройки гражданского общества, как медицина на служит добыванию пищи; однако они могут оказывать благотворное влияние на перестройку, ибо предписывают пусть не меру, но направление необходимых преобразований. Они противостоят порядку вещей, сложившемуся в результате эгоистического и насильственного злоупотребления властью правящими классами; в результате искусственного сведения жизни к вещному развитию мира, лишенного идеализма или нравственной цели. Практические крайности отличаются от вызываемых ими теоретических крайностей тем, что первые отмечены произволом и насилием, тогда как вторые хоть и проникнуты, подобно первым, революционностью, но в то же время являются и целительными. В одном случае заблуждение является сознательным, в другом — неизбежным. Такова основная черта борьбы между существующим порядком и разрушительными учениями, отрицающими его законность. Имеются три основных теории этого рода, оспаривающих современное распределение власти, собственности и территории и напа-

дающих, соответственно, на аристократию, средний класс и верховную власть. Это теории равенства, коммунизма и национальной независимости. Хотя они происходят от одного корня, противостоят родственным видам зла и соединены множеством звеньев, появились они не одновременно. Первую провозгласил Руссо, вторую Бабеф, третью Мадзини; причем третья, возникшая позже первых двух, представляется сейчас самой притягательной и самой многообещающей по части будущих возможностей.

В старой Европе правительства не признавали прав на национальное самоопределение, а народы этих прав за собою не утверждали. Не интересы наций, а интересы правящих фамилий решали, где пролегать границам; управление повсеместно осуществлялось без всякого учета пожеланий населения. Где все свободы были подавлены, по необходимости пренебрегали и требованием национальной независимости; по словам Фенелона, принцесса приносила монархию в приданое жениху. Восемнадцатое столетие неохотно, но все же согласилось забыть права местного самоуправления на континенте, ибо сторонники абсолютизма пеклись только о нуждах государства, а либералы заботились только о свободе личности. Для церкви, дворянства и нации не было места в популярных теориях эпохи; и сами они не разработали никакой теории самозащиты, ибо не подвергались прямым нападениям. Аристократия удерживала свои привилегии, церковь — свою собственность, а династические интересы, отвергавшие естественные склонности наций и уничтожавшие их независимость, тем не менее служили национальной целостности, так что не страдала самая уязвимая точка национального чувства. Лишить монарха его наследственной короны, присоединить его владения означало бы нанести оскорбление всем монархиям, а их подданным дать опасный пример успешного посягательства на неприкосновенность королевской власти. Во время войн, поскольку национальную принадлежность никто не брал в расчет, не было и попыток разбудить патриотические чувства. Любезность правителей по отношению друг к другу была пропорциональна

их презрению к простонародью. Командующие враждебными армиями обменивались комплиментами; не было ни горечи, ни возбуждения; битвы разыгрывались с помпезностью и пышностью парадов. Искусство войны сделалось неспешной ученой игрой. Монархов объединяла не только естественная общность интересов, но семейные союзы. Брачный контракт порою возвещал начало нескончаемой войны, наоборот, по временам семейные узы смирляли захватнический пыл. После 1648 года, когда прекратились религиозные войны, воевали только за наследственные или зависимые территории, или же против стран, система правления которых исключала их из общего закона династических государств, тем самым делая их не только незащищенными, но и отвратительными, и заслуживающими наказания. Такими странами были Англия и Голландия, пока Голландия оставалась республикой, а в Англии поражение яковитов не положило конец сорокапятилетней борьбе за престол. Тем не менее одна страна все же продолжала оставаться исключением; престол одного из королей не находил себе места в монархической системе взаимного признания.

Польша не обладала гарантиями стабильности, вытекавшими в других странах из династических связей и из теории законности власти, согласно которой корона передавалась по наследству или в результате брака. Монарх, в жилах которого не текла королевская кровь, корона, возложенная по воле народа, — были в ту эпоху династического абсолютизма возмутительными аномалиями, поруганием священных прав. Страна была исключена из европейской системы в силу самой природы своих институтов. Она возбуждала не находившую удовлетворения страсть. Она не давала правящим фамилиям Европы надежды на дальнейшее укрепление их положения через перекрестные браки с ее правителями, на приобретение ее короны наследственным путем или в силу завещательного отказа. Габсбурги боролись за власть над Испанией и над Вест-Индией с французскими Бурбонами, за власть над Италией — с испанскими Бурбонами, за власть над империей — с домом Виттельсбахов, за власть над Силе-

зией — с домом Гогенцоллернов. Войны между соперничавшими владетельными домами велись за половину территории Италии и Германии. Но никто не мог и помыслить восполнить свои потери или распространить свою власть за счет страны, на которую нельзя было заявить претензии посредством брака или родословной. Там, где они не могли в любой момент рассчитывать унаследовать власть, они действовали с помощью интриг, пытаясь провести на каждых выборах своего кандидата; и вот после долгой борьбы в поддержку кандидатов, которые были их ставленниками, соседи Польши отыскивали, наконец, средство для окончательного уничтожения польского государства. До той поры ни один народ никогда не был лишен своего политического существования усилиями христианских держав; и сколь ни мало внимания уделялось национальным интересам и склонностям, все же всегда приличия ради принимались некоторые меры для того, чтобы прикрыть злоупотребления лицемерными оправданиями типа ложного толкования закона. Но раздел Польши был актом безрассудного, бесстыдного насилия, означавшего не только попрание патриотических чувств народа, но и надругательство над публичным правом. Впервые в новой истории значительное государство было раздавлено соединенными усилиями врагов, которые поделили между собой всю его территорию и весь народ.

И вот эта знаменитая мера, ставшая самым революционным проявлением старого абсолютизма, пробудила к жизни в Европе теорию национального самоопределения, обратила дремавшую правоту в действенное устремление, не вполне осознанное чувство — в политическое требование. «Ни один мыслящий или честный человек, — писал Эдмунд Берк, — не признает этот раздел справедливым, не сможет размышлять о нем без предчувствия, что однажды для всех стран последуют от него великие бедствия.» * С той поры появилась нация, требовавшая вернуть ей ее государственность, — душа, если

* *Observations on the Conduct of the Minority, Works, v. 112.* — Прим. автора.

можно так выразиться, алчущая телесного воплощения, мечтающая во вновь обретенном теле начать новую жизнь; впервые тогда раздался вопль национального негодования, впервые прозвучало утверждение о том, что решение держав несправедливо, что они перешли свои естественные границы, в результате чего целый народ лишился права жить своей независимой общиной. Но прежде, чем это законное признание вновь могло быть деятельно противопоставлено неслетным силам противников; прежде, чем народ, пережив последний из трех разделов, преодолел устоявшуюся привычку к покорности, собрался с духом и возвысился над тем презрением, которое навлекла на Польшу ее была политическая сумятица, — прежде должна была рухнуть старая европейская система, уступив место нарождению нового мирового порядка.

Старая деспотическая политика, обратившая поляков в свою жертву, имела двух противников: дух английской свободы и революционные доктрины, уничтожившие французскую монархию ее же собственным оружием; эти две силы, хоть и по-разному, противостояли теории, согласно которой у наций как человеческих общностей нет общих прав. В настоящее время теория национального самоопределения является не только мощным подспорьем революции, но составляет самую ее сущность, выразившуюся в народных движениях последних трех лет.¹ Однако этот союз сил национального и социального освобождения сложился относительно недавно и не был известен деятелям первой французской революции. Современная теория национального самоопределения возникла отчасти как ее законное следствие, отчасти же — как реакция на нее. Поскольку системе, не бравшей в расчет этнических границ, противостояли две формы либерализма, английская и французская, то и система, делающая упор на эти границы, отправляется от двух различных источников и обнаруживает черты либо 1688, либо 1789 года. Когда французский народ сбросил королевскую власть и

¹ То есть годы 1860-62.

стал хозяином своей судьбы, Франция оказалась перед угрозой распада: ибо волю народа непросто установить и согласовать, и она складывается не тотчас. «Законы, — сказал Верньо во время дебатов о приговоре королю, — обязательны только в той мере, в какой они закрепляют предполагаемую волю народа, сохраняющего за собою право утвердить или осудить их. В тот момент, когда он непосредственно изъявляет свою волю, труд национального представительства, иначе говоря — закон, должен исчезнуть.» Эта доктрина разлагала общество на его естественные элементы и грозила расколоть страну на множество республик по числу существовавших тогда общин местного самоуправления. Ибо истинный республиканизм исходит из принципа самоуправления как целого, так и всех частей этого целого. В обширной стране он может возобладать лишь в форме союза нескольких независимых общин в единой конфедерации, как это и было в Греции, в Швейцарии, в Нидерландах и в Америке; большая республика, не основанная на принципе федерализма, всегда превращается в государство, в котором вся власть находится в руках одного города, примером чему могут служить Рим, Париж и, в несколько меньшей степени, Афины, Берн и Амстердам; иными словами, демократическое устройство большого народа должно либо пожертвовать самоуправлением в пользу единства, либо сохранить самоуправление с помощью федерализма.

Историческая Франция пала вместе с возвращенным веками французским государством. Старая верховная власть была уничтожена. На местные власти взирали с отвращением и тревогой. Новую центральную власть необходимо было построить на основе нового принципа единения. И вот в качестве основания нации было взято идеализированное первобытное общество; место традиции заступило происхождение, и французский народ начал рассматриваться как некий материальный продукт: как этническое, а не историческое тело. Исходили из того, что человеческая общность существует сама по себе, независимая от какого бы то ни было представительства или правительства, полностью осво-

божденная от своего прошлого и в любую минуту готовая выразить или изменить свое мнение. Говоря словами Сьейеса, это была уже не Франция, а некая неизвестная страна, в которую переселили французов. Центральная власть обладала авторитетом в той мере, в какой она подчинялась целому, и никакие отклонения от универсального общественного мнения не допускались. Эта власть, облеченная волей народа, олицетворялась в Республике Единой и Неделимой. Уже самый этот титул знаменовал собою то, что часть не могла говорить или действовать от имени целого, и что существовала власть, верховная по отношению к государству, отличная и независимая от его членов; оно, кроме того, впервые в истории выражало понятие абстрактной нации и национальной принадлежности. В том же духе идея верховной власти народа, осуществляемой без оглядки на прошлое, вызвала к жизни идею нации, в политическом отношении независимой от своей истории. Она проистекала из отвержения двух авторитетов: государства и прошлого. Между тем французское королевство было как в географическом, так и в политическом отношении продуктом долгой череды событий, и те же самые силы, которые создали государство, сформировали и его территорию. Республика равно отрекалась как от факторов, которым Франция была обязана своими границами, так и от факторов, которым она была обязана своим правительством. Всякий поддающийся стиранию след или признак национальной истории был сметен прочь, снесен до основания: система управления страной, географическое деление страны, общественные классы и корпорации, система мер и весов, календарь. Франция более не была заключена в пределах, унаследованных ею от ее осужденной и отброшенной национальной истории — и соглашалась признавать лишь те пределы, которые установлены природой. Определение нации было заимствовано из материального мира и, во избежание территориальных потерь, представлено не только абстракцией, но и произвольным вымыслом.

В этническом характере движения присутствовал национальный принцип, явившийся источником общего представ-

ления о том, что революции чаще происходят в католических, чем в протестантских странах. В действительности они чаще случаются в странах латинского, чем тевтонского происхождения, ибо частота их зависит, по крайней мере отчасти, от национального порыва, просыпающегося лишь там, где имеется и может подлежать изгнанию чуждый рудимент, след давнего иностранного господства. Западная Европа пережила два великих завоевания: ее народы покорились сначала римлянам, потом германцам, и дважды получали законы из рук завоевателей. Всякий раз Европа восставала против победивших ее народов; и общей чертой двух великих реакций, отличавшихся в соответствии с различным характером двух завоеваний, было явление империализма. Римская империя не жалела сил для того, чтобы превратить поработанные народы в однородную покорную массу; но в процессе вырождения республиканского правления власть наместников провинций, проконсулов, возрасла настолько, что повлекла за собою возмущение провинций против Рима, способствовавшее установлению империи. Имперская система власти дала народам зависимых стран небывалые свободы, возвысила их до гражданского равноправия, положившего конец господству народа над народом, класса над классом. Монархия приветствовалась как отказ от спеси и алчности римского народа; и любовь к свободе, ненависть к нобилитету вместе с терпимостью к внедренному Римом деспотизму сделались, по крайней мере, в Галлии основной чертой национального характера. Но ни один из народов, сломленных суровой республикой, не удержал ресурсов, необходимых для достижения независимости или для начала новой исторической жизни. Политическая сила, которая организует государства и приводит общества в состоянии нравственного порядка, была истощена, так что христианские отцы церкви тщетно искали на этом народном пепелище людей, способных помочь церкви пережить упадок Рима. Новые черты национальной жизни сообщили этому угасавшему миру те самые враги, которые разрушали его. Потоки варваров наводнили его на время, чтобы затем схлынуть, и когда вновь появились веи

цивилизации, обнаружилось, что почва оплодотворена благотворной и возрождающей силой и что наводнение оставило после себя зачатки будущих государств и нового общества. Политическое чувство и энергия пришли вместе с новой кровью и проявились в том, что более молодая раса распространила свою власть на более старую, а также в установлении дифференцированной свободы. Вместо всеобщего равенства прав, действительное обладание которыми с неизбежностью определяется долей участия в управлении, права человека были поставлены в зависимость от множества условий, первым их которых было распределение собственности. Гражданское общество, стало не аморфной комбинацией атомов, а жестко структурированным организмом, который постепенно развился в феодальную систему.

За пять столетий, истекших между Цезарем и Хлодвигом, романская Галлия так основательно усвоила идеи абсолютной власти и полного, до неразличимости, равенства, что народ никогда не мог вполне примириться с новой системой. Феодализм всегда оставался здесь иностранной выдумкой, ввозным товаром, а феодальная аристократия — чуждой расой, защиты от которой простые люди Франции искали в римской юриспруденции и королевской власти. Содействие демократических сил становлению абсолютной монархии — единственная неизменная черта французской истории. Чем в большей мере королевская власть, поначалу феодальная и ограниченная привилегиями и соседством крупных вассалов, становилась абсолютной, тем она была популярнее; в то же время подавление аристократии, устранение всякой промежуточной власти в такой мере было настоящей целью народа, что ее полное осуществление потребовало падения трона. Монархия, с тринадцатого столетия неустанно занятая обуздыванием высшей знати, была в итоге отстранена потерявшей в нее веру демократией, ибо слишком тянула с этой работой, не могла отринуть и забыть свое собственное происхождение и полностью уничтожить тот класс, из которого вышла. Все эти столь характерные для Французской революции вещи — требование равенства, ненависть к

высшей знати, феодализму и связанной с ними церкви, постоянное обращение за примерами и образцами к языческому прошлому, свержение монархии, новый кодекс законов, отмена традиций, наконец, замещение идеальной схемой всего того, что происходило от смешанных и взаимных усилий различных племен и народов, — все это наглядно представляет общий тип реакции, направленной против последствий вторжения франков. Ненависть к королевской власти уступала ненависти к аристократии; привилегии пропали сильнее и вызывали большее отвращение, чем тирания; и король в итоге погиб скорее в силу происхождения его власти, чем из-за злоупотребления ею. Даже совершенно неконтролируемая, но не связанная с аристократией монархия была популярной во Франции; наоборот, попытка восстановить монархию, ограничив ее и окружив трон пэрами, провалилась потому, что старые тевтонские элементы, на которые она делала ставку, — наследственное дворянство, право первородства, привилегии — сделались невыносимы для народа. Сущность идей 1789 года — не в ограничении верховной власти, но в отмене всякой промежуточной власти. Формы промежуточной власти и наделенные ими классы пришли в латинскую Европу от варваров, поэтому и движение, сегодня именуемое себя освободительным, является по своей природе национальным. Если бы его целью была свобода, то средством стало бы создание мощной и независимой власти, не исходящей от государства, и примером ему была бы Англия. Но его целью является равенство; подобно Франции 1789 года, оно хочет отбросить прочь все элементы общественного неравенства, привнесенные тевтонскими племенами. Эта цель объединяет Италию и Испанию с Францией; именно в ней сосредоточена естественная общность латинских народов.

Вот этот национальный элемент движения не был понят революционными вождями. Сначала их доктрина по видимости полностью отрицала национальную идею. Они учили, что некоторые общие принципы правления были совершенно правильными во всех государствах; в теории они от-

стаивали неограниченную свободу индивида и господство воли над любыми внешними необходимостями или обязательствами. Это находится в явном противоречии с национальной теорией, говорящей, что характер, форму и политику государства должны определять некоторые естественные силы, — и, тем самым, на место свободы помещающей своего рода рок или судьбу. Соответственно этому патристические чувства не обнаружались непосредственно в ходе революции, в которую они были вовлечены, но впервые заявили о себе в период сопротивления ей, когда порыв к свободе и раскрепощению был поглощен жадой власти и подчинения, и на смену республике по праву наследницы пришла империя. Наполеон вызвал к жизни новую силу, задев национальные чувства в России, разбудив их в Италии, попирая их своим правлением в Германии и Испании. Монархи этих стран были либо смещены, либо унижены; была введена система управления, французская по происхождению, духу и средствам. На эти перемены народы ответили сопротивлением. Движение против перемен было самопроизвольным и народным, ибо правители либо отсутствовали, либо были беспомощны; кроме того, оно было национальным, ибо направлено было против иностранных установлений. В Тироле, в Испании, а затем в Пруссии правительства не побуждали народ к действию: люди сами сплотились для того, чтобы выдворить и армии, и идеи революционизированной Франции. Сознать национальную природу революции люди начали не во время ее подъема, а в период ее завоеваний. Три течения мысли, нагляднее прочих подавлявшиеся империей и питаемые религией, идеей национальной независимости и идеей политической свободы, составили кратковременную лигу и воодушевили великое восстание, ниспровергшее Наполеона. Под влиянием этого памятного союза на европейском континенте явилась сила, приверженная свободе, но ненавидящая революцию, сила, действующая в направлении восстановления, развития и поднятия из руин национальных институтов. Проводниками ее стали люди, в равной мере враждебные и бонапартизму, и абсолютизму

старых правительств; Штейн и Геррес, Гумбольдт, Мюллер и де Местр¹ выдвигали на первое место национальные права,

¹ В государственных бумагах графа де Местра имеется несколько примечательных мыслей по национальному вопросу: « En premier lieu les nations sont quelque chose dans le monde, il n'est pas permis de les compter pour rien, de les affliger dans leurs convenances, dans leurs affections, dans leurs intérêts les plus chers... Or le traité du 30 mai anéantit complètement la Savoie; il divise l'indivisible; il partage en trois portions une malheureuse nation de 400,000 hommes, une par la langue, une par la religion, une par le caractère, une par l'habitude invétérée, une enfin par les limites naturelles... L'union des nations ne souffre pas de difficultés sur la carte géographique; mais dans la réalité, c'est autre chose; il y a des nations immiscibles ... Je lui parlai par occasion de l'esprit italien qui s'agite dans ce moment; il (Count Nesselrode) me répondit: Oui, Monsieur; mais cet esprit est un grand mal, car il peut gêner les arrangements de l'Italie.» (Correspondance Diplomatique de J.de Maistre, ii, 7, 8, 21, 25). В том же 1815 году Геррес писал: «In Italien wie allerwärts ist das Volk gewechet; es will etwas grossartiges, es will Ideen haben, die, wenn es sie auch nicht ganz begreift, doch einen freien unendlichen Gesichtskreis seiner Einbildung eröffnen... Es ist reiner Naturtrieb, dass ein Volk, also scharf und deutlich in seine natürlichen Gränzen eingeschlossen, aus der Zerstreung in die Einheit sich zu sammeln sucht» (Werke, ii. 20). — Прим. автора.

(Граф де Местр:) «Прежде всего, нации суть нечто реальное в этом мире, их невозможно ни во что не ставить, теснить в их обыкновениях и условностях, в их привязанностях, в их наиболее драгоценных интересах... Итак, договор 30-го мая полностью уничтожает Савойю; он разделяет неделимое; он расчленяет на три части несчастный народ численностью в 400 000 человек, единый по языку, единый по религии, единый по своим свойствам и характеру, единый по своим укорененным обычаям, наконец, единый в силу положенных ему природой границ... Союз народов не допускает произвольного искажения географической карты; в действительности речь идет о другом: имеются нации, в чью жизнь нельзя *вмешиваться*... Как-то я говорил ему о современном подъеме итальянского национального духа; он (граф Нессельроде) ответил мне: Да, сударь, но этот дух — великое зло, ибо он мешает нормализации положения в Италии...» (*Дипломатическая переписка Ж.де Местра*, том второй, стр. 7, 8, 21, 25)). (Геррес:) «В Италии, как как и повсюду, народ пробудился; он желает чего-то грандиозного, он хочет идей, которые, даже если он их не вполне постигает, все-таки открывают бесконечно свободный горизонт воображению. Это совершенно естественное стремление, когда народ, то есть нечто очевидным образом замкнутое в четкие границы, стремится восстановить свою целостность в единстве.» (Сочинения, том второй, 20.)

страдавшие как при империи, так и при монархии; восстановления этих национальных прав они надеялись добиться, сокрушив французскую верховную власть. Друзья революции не сочувствовали делу, восторжествовавшему под Ватерлоо, ибо свою доктрину они отождествляли с делом Франции. Виги Голландского дома в Англии, афранцесадос в Испании, мюратисты в Италии и захваченные национальным подъемом деятели Рейнского союза, соединявшие патриотизм с приверженностью революции, сожалели о падении французской державы и с тревогой смотрели на те новые и неизвестные силы, которые вызвала к жизни эта Война за освобождение и которые в равной мере угрожали и французскому либерализму, и французской верховной власти.

Но реставрация положила конец новым национальным и народным устремлениям. Либералы тех дней искали свободы не в форме национальной независимости, но в форме французских общественных институтов; свои усилия они направляли против собственно национального начала, тем самым действуя в русле усилий и замыслов правительств. Национальной спецификой они жертвовали во имя своего идеала свободы, точно так же как Священный союз жертвовал ею ради абсолютизма. В самом деле, хотя Талейран заявил в Вене, что польский вопрос должен предшествовать всем прочим, ибо раздел Польши был одним из первых и величайших случаев торжества неприкрытого зла в Европе, но династические интересы возобладали. Все владетельные особы, присутствовавшие на Венском конгрессе, получили назад свои уделы, за исключением саксонского короля, наказанного за его верность Наполеону; но государства, не представленные среди правящих фамилий, — Польша, Венеция и Генуя — восстановлены не были, и даже папе римскому пришлось потратить немало усилий, прежде чем он добился возвращения своих захваченных Австрией легаций. Национальное самосознание, не бравшееся в расчет старым режимом, поруганное революцией и империей, едва успев впервые заявить о себе, тотчас получило на Венском конгрессе жесточайший удар. Порочный принцип, возникший вместе с пер-

вым разделом Польши, теоретически обоснованный революцией, в судорожном порыве закрепленный империей, был затем в течение долгих и тягостных лет реставрации шаг на шаг возведен в последовательную и полнокровную доктрину, вскормленную и оправданную положением дел в Европе.

Правительства Священного союза показали, что они с одинаковым рвением намерены подавлять как дух революции, которого они боялись, так и дух национального самосознания, который вернул их к власти. Естественно, что Австрия, ничем не обязанный национальному движению и после 1809 года вполне преградившая путь его возрождению, возглавила эту систему всеевропейского гнета. Всякое посягательство на окончательное урегулирование 1815 года, любые стремления к переменам или реформам немедленно осуждались и преследовались как подстрекательство к мятежу. Эта система подавляла благие начинания с характерной для той эпохи злонамеренностью; поэтому и вызванный ею отпор, как среди поколения, пришедшегося на годы от торжества реставрации до падения Меттерниха, так и в период реакции, начатой Шварценбергом и закончившейся правлениями Баха и Мантейффеля, формировался из всевозможных сочетаний оппозиционных форм либерализма. Но по мере того, как одна фаза борьбы сменялась другой, мысль о первенстве национальных притязаний над всеми прочими правами человека начала набирать силу и в конечном счете возвысилась до того полного преобладания, каковым она пользуется сегодня в революционной среде.

Первое освободительное движение, движение карбонариев на юге Европы, не имело национальной окраски, но было поддержано бонапартистами как в Испании, так и в Италии. Затем на передний план выдвинулись идеи противоположного толка: идеи 1813 года, и началось иное революционное движение, во многих отношениях враждебное принципам революции и боровшееся за триединство свободы, религии и национального самовыражения. Эти три составляющих слились в ирландских волнениях, в греческой, бель-

гийской и польской революциях. Человеческие побуждения и чувства, погрязшие Наполеоном и восставшие на него, в свой черед восстали на сменившие Наполеона правительства реставрации. Угнетаемый сперва мечом, затем — статьями договоров, национальный взгляд на мир прибавил освободительному движению не справедливости, но силы, и в итоге повсюду, за исключением Польши, торжествовал. Затем последовал период, когда это триединство выродилось в чисто национальную идею: когда национально-освободительный порыв уступил место борьбе за расторжение унии между Великобританией и Ирландией, а под покровительством восточной церкви начали набирать силу панславизм и панэллизм. Это была третья фаза противодействия венским установлениям, противодействия слабого, ибо оно не смогло удовлетворить ни национальному, ни конституционному устремлениям, из которых каждое должно было бы служить ограничительной гарантией против другого, опираясь если не на всенародное, то на нравственное оправдание. Сначала народы восстали в 1813 году против завоевателей, в защиту своих законных правителей. Они более не желали видеть над собою узурпаторов. В период между 1825 и 1831 народы осознали, что уже не хотят сносить дурного управления иноземцами, даже если их власть узаконена. Французская администрация часто бывала лучше той, которую она сменила, но остались местные претенденты на захваченную французами власть, и первым национальным согласием было согласие во имя законности их претензий. Во второй период этот элемент отсутствовал. Не государи, лишённые наследственных владений, вели за собою греков, бельгийцев и поляков. Турки, голландцы и русские навлекли на себя их восстания не как узурпаторы, но как угнетатели: существенно было то, что они дурные правители, а не представители другого племени. Затем пришло иное время, когда уже прямо утверждалось, что народом не должны править иностранцы. Власть, законно приобретенная и осуществляемая без злоупотреблений, была объявлена не имеющей силы. Отстаивание национальных прав, подобно религии, играло известную роль

в прежней расстановке сил и в немалой степени способствовало борьбе за свободу, но теперь национальное дело было решительно поставлено над всеми прочими, целью становится отделение и самоутверждение нации, и хотя поборники этой цели могли в качестве временного предлога выставить права законных владельцев, освобождение народа, защиту религии, но в случае невозможности союза с этими силами национальное дело желало торжествовать ценою всех мыслимых жертв, которые только были под силу нациям.

Развитию этих настроений после Наполеона больше всех способствовал Меттерних, ибо именно в Австрии реставрация приняла наиболее выраженный антинациональный характер, так что национальное самосознание ее народов вырабатывалось в систему в ходе противодействия правительству. Наполеон, который, полагаясь на свои армии, ни во что не ставил нравственные начала в политике, был сокрушен их подъемом. Австрия допустила ту же ошибку в управлении своими итальянскими провинциями. При Наполеоне Итальянское королевство объединило всю северную часть Апеннинского полуострова в единое государство; патриотические чувства, всюду французами подавлявшиеся, были использованы ими как гарантия их господства в Италии и в Польше. Когда начался отлив, и военное счастье изменило французам, Австрия использовала против них ими же разбуженные и взлелеянные патриотические чувства итальянцев. В своей прокламации Нюджент призывал итальянцев стать независимым народом. Те же настроения служили самым разным господам, сначала способствовав разрушению старых государств, потом изгнанию французов, а затем, уже во времена Карла Альберта, новой революции. К ним зывали от имени самых разноречивых принципов управления, они служили в свой черед всем партиям, ибо были тем единственным началом, которое способно сплотить всех. Начавшись возмущением против господства одного племени над другим, что было его наиболее мягкой и наименее развитой формой, дух национального притязания поднялся до осуждения всякого государства, управляющего некоренны-

ми народами, и в конце концов вылился в законченную и последовательную теорию, согласно которой государство должно простирается не далее создавшей его нации. Милль утверждает: «Необходимое условие свободных институтов, вообще говоря, состоит в том, чтобы границы, в которых правомочны правительства, в основном совпадали с границами национальными.»¹

Поступательное движение этой идеи в истории наших дней, ее вызревание от неопределенного стремления до краеугольного камня политической системы, можно проследить вместе с жизнью одного человека, сообщившего ей ту составляющую, в которой сосредоточена ее сила: Джузеппе Мадзини. Он нашел, что движение карбонариев бессильно против правительственных мер, и решил придать новую жизнь освободительному движению, переведя его на почву национализма. Если школой либерализма был гнет, то питомником национализма стала эмиграция, и свою Молодую Италию Мадзини задумал, будучи беженцем в Марселе. Так же точно и польские изгнанники стояли во главе всякого национального движения; ибо для них решительно все политические права воплощала в себе идея национальной независимости, и как бы ни отличались они один от другого в остальном, она всегда оставалась их общим устремлением. В годы, предшествовавшие 1830-му, литература также внесла свой вклад в развитие националистических настроений. «Это было, — говорит Мадзини, — время великого столкновения школ романтизма и классицизма, которое с равным правом можно было считать столкновением между поборниками свободы и власти.» Романтическая школа была атеистической в Италии и католической в Германии, но общим для нее в обеих странах было обращение к национальной истории и литературе, и Данте становится столь же важным авторитетом для итальянских демократов, каким он был для лидеров средневекового возрождения в Вене, Мюнхене и Берлине. Но ни влияние изгнанников, ни влияние поэтов и критиков новой

¹ Consideration on Representative Government, p. 298. — Прим. авт.

партии не распространилось на массы. Деятели нового либерализма оставались сектой без народного сочувствия и поддержки, заговором, в основе которого лежали недовольство и обида, а не доктрина; и когда в 1834 году в Савойе они попробовали поднять восстание, на знамени которого было начертано Единство, Независимость, Бог и Человечность, народ не понял цели движения и остался равнодушен к его провалу. Но Мадзини продолжил свою пропаганду, превратил свою Молодую Италию в Молодую Европу, и в 1847 году основал международную лигу наций. «Народ, — сказал он в своем вступительном обращении, — проникнут одной идеей, идеей единства и национальной целостности... Не существует международного вопроса о формах правления, существует только национальный вопрос.»

Революция 1848 года, неудавшаяся в смысле достижения выдвинутой ею национальной цели, подготовила два русла для последующих побед дела национального освобождения народов. Первым стало восстановление власти Австрии в Италии: власти более энергичной и централизованной, не оставлявшей никаких надежд на свободу. Пока эта система господствовала, правота была на стороне национальных устремлений, которые Даниэле Манин возродил в более полной и выверенной форме. Политика австрийского правительства, не сумевшая за десять лет реакции обратить владения по праву силы во владения по праву закона и путем установления свободных институтов создать условия для народной верности правительству, подхлестнула национальные настроения и дала их теории негативное обоснование. В 1859 году она лишила Франца Иосифа какой бы то ни было действительной поддержки или симпатии, ибо в своих поступках он был неправ нагляднее, чем его враги в своих доктринах. Однако действительно мощный заряд энергии национальная теория получила благодаря торжеству демократического принципа во Франции, вместе с его признанием европейскими державами. Теория национальной независимости в качестве составной части входит в демократическую теорию верховной власти народа, его суверенной воли. «Затруднин-

тельно указать, какие права и свободы должны принадлежать тому или иному подразделению рода человеческого, пока не определено, с каким из всевозможных человеческих коллективов оно себя ассоциирует.»¹ Именно этим актом самоопределения нация создает себя. Единство есть необходимое условие формирования коллективной воли, тогда как для ее утверждения требуется независимость. Единство и национальное самосознание все еще более существенны для понятия народного суверенитета, чем низвержение монархов или отмена законов. Произвольные действия этого рода могут быть предотвращены народным благодеянием или популярностью короля, но нация, воодушевленная демократической идеей, не может, оставаясь последовательной, позволить какой-либо своей части принадлежать иностранному государству, или допустить расчленение целого на несколько самостоятельных государств. Таким образом, теория национального самоопределения отправляется от тех двух принципов, которые разделяют политический мир: от принципа легитимности, который оставляет без внимания национальные притязания, и от принципа революции, который принимает эти притязания; и по той же причине она является основным оружием второго принципа против первого.

Проследив внешние и наиболее наглядные черты становления национальной теории, мы теперь готовы к тому, чтобы рассмотреть ее политический характер и значение. Создавший эту теорию абсолютизм в равной мере отрицает как неотъемлемое право нации на единение, выработанное демократией, так и требование национального освобождения, входящее в теоретическое понятие свободы. Связь этих двух взглядов на природу нации, отвечающих французской и английской системам, исчерпывается именем, ибо на деле они представляют две противоположные крайности политической мысли. В одном случае национальность утверждается путем неизменного верховенства коллективной воли, то есть основана на том самом народном суверени-

¹ Mill's Considerations, p. 296. — Прим. автора.

тете, для которого необходимым условием является единство нации, которому подчинены все прочие стремления и влияния, и против которого не имеют силы никакие обязательства, а любое сопротивление является проявлением тирании. Нация предстает здесь идеальной единицей, основанной на племенной общности, которая не считается с благодетельным и совершенствующим действием внешних причин, традиций и сложившихся правил. Этот подход отвергает права и надежды населения, поглощает все их многообразие и несходство в некоем воображаемом единстве; приносит их всевозможные склонности и обязанности в жертву высшему национальному притязанию и ради самоутверждения сокрушает все естественные права и установленные вольности.¹ Едва только какая-либо вполне определенная вещь провозглашается высшей целью государства, будь то классовые преимущества, безопасность или могущество страны, наибольшее благоденствие наиболее многочисленной группы населения или борьба за утверждение какой-либо спекулятивной идеи, тотчас и с неизбежностью государство получает в свои руки абсолютную власть. Одна лишь только свобода, или, лучше: вольность, требует для своего осуществления ограничения общественной власти, ибо вольность есть единственная вещь, которая всем благоприятствует в равной мере и не навлекает на себя ничьей искренней оппозиции. В поддержке притязаний национального единства должны быть ниспровергнуты государства по

¹ «Le sentiment d'indépendance nationale est encore plus général et plus profondément gravé dans le coeur des peuples que l'amour d'une liberté constitutionnelle. Les nations les plus soumises au despotisme éprouvent ce sentiment avec autant de vivacité que les nations libres; les peuples les plus barbares le sentent même encore plus vivement que les nations policées» (L'Italie du Dix-neuvième Siècle, p. 148, Paris, 1821). — Прим. автора.

(«Чувство национальной независимости коренится в душе народов глубже, чем любовь к конституционной свободе. Самые угнетенные деспотизмом народы испытывают это чувство так же сильно, как и свободные; самые варварские народы ощущают его даже сильнее, чем народы цивилизованные.» (Италия XIX века, стр. 148, Париж, 1821.).

существованию безупречные, политика которых благотворна и справедлива, а их подданные должны будут против своей воли присягнуть на верность власти, к которой они не испытывают ни малейшей привязанности и которая для них по существованию равнозначна иностранному господству. Другая теория, не связанная с этой ничем, кроме общей для обеих враждебности абсолютизма, исходит из того, что национальность есть существенный, но не самый важный элемент из числа определяющих форму государства. Она отличается от первой тем, что устремлена к разнообразию, а не к унификации, к гармонии, а не к единству, и целью своей ставит не произвольные перемены, но бережное и уважительное отношение к существующим условиям политической жизни, ибо она отправляется от законов и итогов истории, а не от стремления к идеальному будущему. В то время как теория единства делает национальность источником деспотизма и революции, теория вольностей рассматривает ее как оплот самоуправления и первый предел, положенный чрезмерной власти государства. Частные права, приносимые в жертву единству, при союзе наций находятся под защитой. Ни одна сила не может столь же действенно противиться централизации, коррупции и абсолютизму, как национальная община, которая является крупнейшим из способных войти в состав государства объединений, наделяет своих членов соответствующим сходством особенностей, интересов и взглядов, и останавливает действия правителя, выдвигая против него иначе понятый патриотизм. Сосуществование различных наций под покровом одной верховной власти производит действие, подобное действию независимой от государства церкви. Противодействуя раболепию и подлостью, процветающим в тени единоначалия, оно уравнивает интересы, умножает связи и взаимодействия, сообщает подданным ту широту и разветвленность взгляда, из которого они черпают сдержанность и твердость. Точно так же оно способствует независимости, формируя различные группы общественного мнения, открывая широкие возможности изъяслению политических настроений и осознанию обязанностей, не выте-

кающих из верховной воли. Вольность вызывает к жизни многообразие, а многообразие защищает вольность, поставляя ей средства самоорганизации. Вся та часть законоуложения, которая управляет отношениями между людьми и налаживает общественную жизнь, есть многозначный результат национальных обычаев, творение частной жизни общества. Следовательно, в подобного рода вещах нации не могут не различаться между собою: ведь они сами выработали свои обычаи, а не получили их от государства, в составе которого находятся. Эта многоликость одного и того же государства является надежным щитом, ограждающим человека от вторжений правительства в сферы, стоящие к нему ближе, чем общая для всех политика, иначе говоря, от посягательств власти на ту область общественной жизни, которая избегает законодательства и управляется своими самопроизвольными законами. Такого рода вторжения характерны для абсолютистского государства. Они не могут не вызывать ответной реакции, не могут не выработать противодействия. Нетерпимость к социальной свободе, для абсолютизма естественная, с неизбежностью ведет к поиску и нахождению корректирующего средства в национальном многообразии, ибо ни одна другая сила не в состоянии доставить лекарства более действенного. Сосуществование нескольких наций в одном государстве является одновременно и свидетельством, и гарантией его свободы. Оно, кроме того, есть один из важнейших рычагов цивилизации, находится в качестве такового в согласии с естественным и провиденциальным порядком и указывает нам государство более совершенное, чем государство национального единства, выдвинутое в качестве идеальной модели современным либерализмом.

Соединение различных наций в одном государстве есть условие цивилизованной жизни столь же необходимое, как соединение людей в обществе. Низшие племена возвышаются, живя в политическом союзе с племенами более развитыми. Нации истощенные, ослабленные и угасающие обретают новые силы благодаря соприкосновению с более молодыми и полными жизненной энергии. Нации, утратившие

способность к самоорганизации и управлению, вследствие ли подавляющего влияния деспотизма или разобщающего действия демократии, восстанавливаются и заново учатся утраченным навыкам, следуя строгим правилам более сильной и менее развращенной расы. Этот благотворный и восстановительный процесс возможен лишь при условии жизни под одним правительством. Именно в плавильном котле государства происходит слияние, при котором бодрость, осведомленность и способность одной части человечества передается и становится достоянием другой. Там, где политические и этнические границы совпадают, общества перестают развиваться, и нации оказываются отброшенными назад, в состояние, напоминающее состояние человека, переставшего общаться с другими людьми. Наоборот, несовпадение этих границ сплачивает человечество не только преимуществами, которые непосредственно черпают из него живущие вместе, но еще и тем, что оно соединяет общество либо политическими, либо национальными узами, каждому народу сообщает интерес к соседям, основанный на административной или этнической общности, так что в итоге в выигрыше оказываются человечность, цивилизация и религия.

Христианство приветствует смешение рас и племен, тогда как язычество связывает себя с присущими им различиями, ибо истина универсальна, а заблуждения специфичны и многолики. В древности идолопоклонство и национальность шли бок о бок, и священное писание не отделяет племени от племенного культа, обозначая их одним и тем же словом. Именно церкви было предназначено преодолеть национальные особенности и различия. В период ее бесспорного господства вся Западная Европа подчинялась одним и тем же законам, вся литература содержалась в одном языке, политическое единство христианства олицетворялось в едином властелине, а вся ее интеллектуальная жизнь была представлена в одном университете. Как античные римляне завершали свои завоевания тем, что вывозили богов покоренного народа, так Карл Великий сломил национальное сопротивление саксов лишь насильственным разрушением их

языческих обрядов. В результате совместных усилий церкви и германской расы по выходе из средневековья появилась иная система наций и новое понимание национальности. Природа была побеждена как в нации, так и индивиде. В дикие языческие времена нации отличались друг от друга разительно: не только своей религией, но и обычаями, языком, характером. При новом уложении они уже имели между собой много общего; разделявшие их старые перегородки были удалены, и новый принцип самоуправления, введенный христианством, дал им возможность жить вместе, под властью одного и того же правительства, не теряя при этом с необходимостью национальных обычаев, укладов и законов. Новая идея свободы создала пространство для жизни различных племен в одном государстве. Нация была уже не тем, чем в античности, не сообществом людей, возводивших себя к общему предку, не продуктом определенной местности, не результатом единственно физических и материальных причин, но существом нравственным и политическим; перед нами теперь уже не племя, сплоченное на основе географии и психологии, но сложившаяся исторически под влиянием государства нация. При этом, будучи во многом следствием воздействия государства, она отнюдь не возвысилась над ним. Государство может с течением времени создать нацию, но представление о том, будто национальность должна составлять и утверждать государство, противоречит природе современной цивилизации. Нация выводит свои права и власть из воспоминаний о былой независимости.

Церковь действовала в этом смысле заодно с прогрессом и всюду, где это было ей под силу, препятствовала изоляции наций. Она всячески внушала народам представление об их взаимных обязанностях, а завоевания и феодальные инвестиции рассматривала как естественные средства возведения диких и отсталых наций на более высокую ступень цивилизации. И хотя она никогда не отстаивала неприкосновенности национальной независимости против случайных последствий феодального права, наследственных притязаний или завещательных перетасовок, она защищала

вольности народов против уравниловки и централизации с энергией, внушенной совершенной общностью интересов. Ибо и ей, и нациям угрожал один и тот же враг; государство, всегда неохотно терпящее какие бы то ни было различия, неохотно учитывающее национальные своеобразия при применении судебных установлений к различным народам, по той же самой причине должно вторгаться и во внутреннее самоуправление религии. Связь религиозных вольностей с делом освобождения Ирландии и Польши отнюдь не является случайной и местной; и провал попытки сплотить поданных Австрии посредством конкордата есть закономерное следствие политики, не желающей защищать автономию провинций в их естественном многообразии, пытающейся подкупить церковь проявлениями благосклонности вместо того, чтобы укрепить ее, предоставив ей большую независимость. Из этого влияния религии в современной истории выросло новое определение патриотизма.

Разница между национальностью и государством наглядно проявляется в природе патриотической приверженности. Наша племенная принадлежность есть всего лишь результат действия природных сил, тогда как наш долг по отношению к нации как политическому объединению есть долг этический. В первом случае перед нами общность привязанностей и инстинктов, бесконечно важных и могущественных в первобытном обществе, но приличествующих скорее не цивилизованному человеку, а животному; во втором случае мы говорим об авторитете законов, налагающих обязательства и придающих естественным отношениям общества характер нравственного согласия. Патриотизм представляет собою в политической жизни то же, что вера в религии, и к местному патриотизму и тоске по родине он относится так же, как вера относится к фанатизму и суеверию. Он из его аспектов восходит к частной жизни и природе, ибо патриотизм является продолжением семейных привязанностей, как племя является продолжением семьи. Но подлинная политическая природа патриотизма определяется перерастанием инстинкта самосохранения в нравственный долг, ино-

гда предполагающий самопожертвование. Самосохранение включает в себе одновременно и инстинкт, и долг, тем самым являясь с одной стороны чем-то естественным и произвольным, а с другой представляя собою нравственное обязательство. Его первая составляющая создает семью, вторая созидает государство. Если бы нация могла существовать без государства, повинуюсь только инстинкту самосохранения, она была бы неспособна к самоконтролю, самоотвержению и самопожертвованию, но стала бы самодовлеющей самоцелью. Между тем политический строй выдвигает моральные и общественные цели, ради которых необходимо приносить в жертву не только личные интересы, но подчас и самую жизнь. Величайшее проявление подлинного патриотизма, перерастание естественного эгоизма в жертвенность, есть продукт политической жизни. Это чувство долга, доставляемое принадлежностью к племени, не полностью свободно от своей изначальной себялюбивой инстинктивной основы; любовь в родине, точно так же, как и любовь супружеская, имеет под собою в одно и то же время и материальный, и нравственный фундамент. Всякий патриот должен отчетливо различать два дела, или объекта, своей преданности. Привязанность единственно к стране подобна повиновению только государству, то есть покорности только физическому воздействию. Человек, ставящий свой долг перед родиной превыше всех прочих обязанностей, обнаруживает тот же нрав, что и человек, передающий все без изъятия права государству. Оба не сознают, что право стоит выше власти.

Существует, если прибегнуть к языку Берка, нравственная и политическая страна, не совпадающая с географической и способная находиться в прямом столкновении с нею. Французы, поднявшие оружие против Конвента, были настроены столь же патриотически, как и англичане, восставшие на короля Карла, ибо они отправлялись от более высокого долга, чем повиновение фактической власти. «Во всяком нашем обращении к Франции, — сказал Берк, — при всякой попытке вступить с нею в отношения, при рассмотрении любой схемы, так или иначе с нею связанной, совершенно не-

возможно иметь в виду географическую страну: мы обязаны всегда иметь в виду страну нравственную и политическую... Правда состоит в том, что Франция сейчас вне себя: Франция нравственная отделилась от Франции географической. Хозяин изгнан, дом в руках разбойников. Если мы ищем действительных французов, существующих в качестве таковых как на первый взгляд, так и с точки зрения публичного права (я хочу сказать, тех французов, которые свободны располагать собою и решать за себя, кто не лишен способности вступить в отношения и делать выводы), то мы найдем их во Фландрии и в Германии, в Швейцарии, Испании, Италии и Англии. Среди них все принцы крови, все государственные сановники, все члены собраний королевства... Я убежден, что если бы люди такого ранга численностью в половину этих французов были бы выброшены из этой страны, то я едва ли решился бы называть оставшихся английским народом.» * Руссо проводил почти столь же четкое различие между страной, к которой нам довелось принадлежать, и той, которая осуществляет по отношению к нам политические функции государства. В *Эмиле* имеется изречение, смысл которого не просто передать в переводе: «Qui n'a pas une patrie a du moins un pays.»¹ А в своем трактате по политической экономии он пишет: «Следует ли людям любить свою страну, если она дает им не больше, чем иноземцам, даруя им лишь то, в чем не может отказать никому?» В том же смысле он высказывается и далее: «La patrie ne peut subsister sans la liberté.»^{2**}

* Burk's «Remarks on the Policy of the Allies» (Works, v. 26, 29, 30), — Прим. автора.

¹ У кого нет родины, есть по крайней мере родной край (фр.).

² Не существует родины без свободы (фр.).

** Œuvres, i. 593, 595, ii. 717.

Боссюэ, в замечательном по красоте отрывке о любви к своей стране, не поднимается до политического определения этого слова:

«La société humaine demande qu'on aime la terre où l'on habite ensemble, ou la regarde comme une mère et une nourrice commune... Les hommes en effet se sentent liés par quelque chose de fort, lorsqu'ils songent, que la même

Но если так, то единственная нация, по отношению к которой мы находимся в политическом долгу, это нация, сформированная государством, и, следовательно, только она располагает политическими правами. Швейцарцы этнически являются либо французами, либо итальянцами, либо немцами, но ни один народ ни в малейшей степени не может заявить на них каких бы то ни было претензий, исключая сам швейцарский народ, являющийся чисто политическим образованием. Тоскана или Неаполитанское государство сформировали нацию, но флорентийцы и неаполитанцы в политическом отношении не имеют друг с другом ничего общего. Существуют и другие государства, не преуспевшие ни в том, чтобы абсорбировать в свой состав вполне оформившиеся народы, ни в том, чтобы выделиться в обособленные области. Примером одних являются Австрия и Мексика, примером других Парма и Баден. И государства второго типа мало благоприятствуют прогрессу. Для сохранения своей целостности они должны вступать в конфедерации с другими государствами, участвовать в союзах, образованных близкими народами, входить в состав более крупных держав, тем самым теряя нечто от своей независимости. Они склонны изолировать свое население, препятствовать контактам жителей с внешним миром, сужать их горизонт, мешать нормальному росту их мысли. Общественное мнение не в состоянии поддерживать свою свободу и чистоту в столь стесненных границах; и волны течений, зародившихся в общинах более просторных, прокатываются поверх этих клочков земли. В среде малочисленного и однородного населения нет должного

/начало на стр. 131/ terre qui les a portés et nourris étant vivants, les recevra dans son sein quand ils seront morts» (Politique tirée de l'Écriture Sainte, Œuvres, x. 317.), — Прим. автора.

(Боссюэ:) «Человеческое общество требует от человека, чтобы он любил землю, на которой живет вместе с другими. ... В самом деле, люди понимают, что их связывает друг с другом нечто прочное, когда сознают, что та самая земля, которая носит и кормит их при жизни, примет их в свое лоно после их смерти.») (Политика, взятая из Священного Писания, Труды, x. 317).

простора естественному расслоению общества, негде развернуться группам, объединенным общностью интересов и тем самым связывающим верховную власть. Правительство и подданные сражаются между собою заёмным оружием. Средства первого и устремления вторых восходят к неким внешним источникам, и следствием является то, что страна становится одновременно орудием и ареной столкновений и споров, в которых она вовсе не заинтересована. Такие государства, как мелкие средневековые княжества, сыграли известную роль, содействовали возникновению, самоутверждению и безопасности небольших общин в составе более крупных государств; но они являются помехой общественному развитию, определяемому смешением рас и племен, живущих под властью одного и того же правительства.

Тщета и пагубность национальных притязаний, не имеющих под собою никакой политической традиции, но основанных единственно на племенной общности, обнаружили себя в Мексике. Там племена различаются по крови, однако живут вперемешку друг с другом. Поэтому их невозможно ни объединить, ни превратить в элементы правильного государства. Они неустойчивы, бесформенны, разобщены, и не могут быть ни отброшены, ни положены в качестве готовых блоков в основание политических институтов. Поскольку они непригодны для служения государству, они не могут быть и признаны им, и все им присущие и их отличающие качества, способности, стремления и привязанности остаются без употребления, а значит и без внимания. По необходимости пребывающие в небрежении, они, соответственно, являются постоянным источником возмущения. Восточный мир преодолевает проблемы племен, обладающих политическими запросами, но лишенных места в политической жизни, посредством института каст. Там, где имеются только две этнические группы, возможно возникновение рабства; но когда несколько народов населяют различные территории в составе единой империи из нескольких государств меньшего размера, возникает благоприятнейшее из всех мыслимых сочетаний для установления высокоразвитой

системы свобод. В Австрии имеются два обстоятельства, усугубляющие трудность задачи, но одновременно и повышающие ее важность. Здесь сосуществуют несколько народов, находящихся на очень разной ступени развития, и вместе с тем нет народа, в такой мере господствующего над прочими, чтобы полностью овладеть ими или поглотить их. Здесь имеются необходимые условия для достижения высочайшей из доступных правительству степеней организованности. Эти условия обеспечивают все мыслимое разнообразие интеллектуальных возможностей, создают постоянные побудительные мотивы к развитию, доставляемые не одной лишь конкуренцией, но также и созерцанием более преуспевших на жизненном поприще людей; они дают чрезвычайное обилие элементов самоуправления и одновременно не позволяют государству управлять всем и всеми, исходя единственно из своей воли; и они же суть полнейшие гарантии сохранения местных обычаев и древних народных прав. В такой стране свобода могла бы принести самые блистательные результаты, тогда как централизация и абсолютизм были бы равнозначны гибели.

Задача, предстоящая правительству Австрии, сложнее той, которая успешно разрешена в Англии, поскольку в Австрии ее решение невозможно без признания национальных притязаний. Парламентская система не способна удовлетворить притязаниям наций, ибо она предполагает национальное единство народа. Отсюда ясно, что в тех странах, в которых вместе живут различные народы, она в принципе не может удовлетворить их нуждам и потому рассматривается там как весьма несовершенная форма свободы. С еще большей отчетливостью, чем прежде, она обнаруживает трудности, которых сама же не признает, тем самым продолжая дело старого абсолютизма и представляя собою новую фазу централизации. Поэтому в странах такого типа власть имперского парламента должна ограничиваться столь же бдительно, как и власть короны, и многие из его функций должны быть переданы провинциальным собраниям и далее, по нисходящей, местным органам власти.

Громадное место, принадлежащее в государстве его народностям, определяется тем фактом, что на них покоится политическая дееспособность государства. Свойства народа в огромной степени определяют форму и жизненную силу государства. При этом разным народам свойственны разные политические идеи и обычаи, к тому же меняющиеся в ходе национальной истории. Народ, едва вышедший из дикого состояния, или, наоборот, расслабленный избытком и роскошью своей цивилизации, не может обладать средствами для самоуправления; народ, приверженный идее равенства или идее абсолютной монархии, неспособен создать аристократию; народ, питающий отвращение к институту частной собственности, лишен первейшего элемента свободы. Каждый из названных народов может быть превращен в действительно свободную человеческую общину лишь путем соприкосновения с расой более высокой организации, в жизненной мощи которой заключены надежды будущей государственности. Система, не берущая этих вещей в расчет, не ищущая себе поддержки в свойствах и склонностях людей, вовсе не предполагает, что они сами должны управляться со своими делами, но ждет от них лишь слепого повиновения распоряжениям сверху. Поэтому отрицание национального своеобразия влечет за собою отрицание политической свободы.

Современная теория национализма в корне противоречит правам и интересам наций. Настаивая на национальной независимости, на том, что у всякой нации в принципе должно быть свое государство, она тем самым ставит в подчиненное положение любую другую нацию, оказывающуюся в границах национального государства. Она в принципе не может допустить равенства национальных меньшинств с основной нацией, образовавшей государство, ибо при этом государство перестает быть национальным, то есть вступает в противоречие с основным началом своего существования. Судьба национальных меньшинств определяется далее степенью гуманности и цивилизованности господствующего народа, заявляющего претензии на все права общины, и

может в соответствии с этой степенью означать для них истребление, сведение на положение рабов, ущемление в правах и лишение защиты закона или же зависимое положение.

Если мы примем, что установление вольностей во имя осуществления нравственных обязательств является целью гражданского общества, мы должны заключить, что государства, которые, подобно Британской или Австрийской империям, включают в себя множество различных национальностей, не угнетая их, по существу своему наиболее совершенны. Наоборот, заведомо несовершенны те страны, в которых нет смешения рас и племен; и дряхлы, лишены жизненных сил те, в которых это смешение не оказывает более своего благотворного влияния. Государство, неспособное удовлетворить запросам различных племен, осуждает себя; государство, действующее в направлении ослабления, поглощения или изгнания их, уничтожает свою жизнеспособность; государство, не обладающее ими, лишено важнейшей основы самоуправления. Таким образом, новая теория национализма обращает историю вспять. При этом она является самой передовой формой революции, и должна сохранить свою силу до конца революционного периода, наступление которого провозглашает. Ее величайшее историческое значение обусловлено двумя основными причинами.

Во-первых тем, что она утопична. Согласие, которое она ставит себе целью, невозможно и недостижимо. И вот, поскольку по природе своей эта теория есть страсть, не находящая себе удовлетворения, неистощимая и всегда продолжающая самоутверждаться, она, в силу этих свойств, не дает правительствам возможности вернуться к состоянию, предшествовавшему ее первоначальному подъему. Опасность слишком грозна, власть над человеческими умами слишком велика, чтобы какое-либо государство решилось допустить возникновение условий, оправдывающих национальное сопротивление. Следовательно, новейшая теория национализма должна приносить то, что она в теории осуждает: свободу разных наций как членов некоей охватывающей их общины народов. И это та услуга человечеству, которая под силу

только ей. Ибо эта теория в равной мере выправляет ошибки и абсолютной монархии, и демократии, и конституционализма, так же точно как и общей для всех трех централизации. Ни монархическая, ни революционная, ни парламентская системы не могут этого сделать. Все идеи, воодушевлявшие человечество в минувшие века, оказались бессильны перед этой целью, исключая идею национальной общности.

И, во-вторых, национальная теория знаменует собою конец революционной доктрины и ее логическое исчерпание. Едва только национальные права поставлены над всеми прочими, теряет силу, вступая в противоречие сама с собою, система демократического равенства. Социализм заявил о себе между демократической и националистической фазами революции и уже успел довести следствия своего исходного принципа до абсурда. Но эта фаза миновала. Революция пережила свое потомство и дала иной, идущий далее результат. Национализм перспективнее социализма, ибо по природе своей более властен и деспотичен. Социальная теория ставит своей целью показать тяготы существования человека под ужасающим бременем, налагаемым современным обществом на плечи людей тяжелого труда. Она не только развивает представления о равенстве, но открывает путь к спасению для страждущих и голодных. При этом сколь бы ни было на деле ложным предлагаемое решение, но требование спасти беднейших людей от гибели законно и справедливо; и если при этом свобода приносится в жертву спасению человека, то насущнейшую, первоочередную цель можно считать хотя бы в принципе решенной. Но национализм не имеет в виду ни свободу, ни благосостояние: и то, и другое принесено им в жертву повелительной необходимости сделать нацию шаблоном и мерилom государственности. Его путь будет отмечен как вещественными, так и нравственными руинами, и все во имя нового измышления, готового попать и труды господни, и интересы человечества. Нет принципа преобразования общества, нет мыслимой схемы политического умопостижения более всепоглощающих, более разрушительных и своевольных, чем исходящие из начала нацио-

нального. Национализм есть отрицание демократии, ибо он полагает пределы проявлению воли народа, подменяя ее принципом более возвышенным. Он препятствует не только членению, но и расширению государства, ибо не позволяет заканчивать войну завоеванием, гарантирующим дальнейший мир. Таким образом, отдав человека на милость коллективной воли, революционная система тотчас подчиняет коллективную волю независимым от нее силам и, отвергнув всякую законность, сама отдается во власть единственно случая.

И хотя поэтому национализм более абсурден и преступен, чем социализм, он имеет важное предназначение возвести конечный конфликт, а стало быть и отмирание, двух сил, наиболее враждебных гражданским свободам: абсолютной монархии и революции.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

(Лекция, прочитанная при торжественном вступлении в должность профессора в Кембридже 11 июня 1895 года)

Господа студенты, коллеги! Сегодня я мысленно возвращаюсь ко времени, предшествовавшему середине столетия, когда я зачитывался историей в Эдинбурге и страстно желал поступить в Кембриджский университет. Я обратился тогда в три колледжа, и, приходится признать, все три мне отказали. Этот колледж был первым, с которым я в ту пору тщетно связывал мои надежды, — и здесь, в более благоприятный час, спустя сорок пять лет, они, наконец, осуществились.

Я хотел бы начать мое обращение к вам с обзора того, что с полным основанием могу именовать единством новой истории. В этом мне видится естественный подход к вопросам, уже на пороге неизбежно ожидающим всякого, кто занимает это место, которое мой предшественник сделал для меня столь грозным благодаря блеску своего имени.

Вам нередко приходилось слышать, что новая история есть предмет, которому нельзя приписать ни начала, ни конца. У него нет начала, потому что ткань человеческих судеб ткется плотно, без пропусков; потому что в обществе, как и в природе, структура непрерывна, и мы в состоянии просле-

дить уходящую в глубь веков череду сцепленных и неподдающихся размежеванию событий до той поры, пока смутно не различим истоков Декларации независимости в лесах Германии. У него нет конца, потому что, исходя из того же принципа, история совершившаяся и история совершающаяся суть вещи, с научной точки зрения неотделимые, а при разделении лишаящиеся смысла.

«Политика, — сказал сэр Джон Сили, — груба и пошла, когда она не освобождена историей, а история выхолащивается до литературы, когда она теряет из виду связь с практической политикой.» Легко видеть, в каком смысле это высказывание верно. Ибо наука политики есть единственная наука, намываемая потоком истории подобно тому как в речном песке намываются крупинцы золота; причем знание прошлого, свод истин, открывшихся благодаря опыту, обладает громадным практическим значением, ибо выступает и как орудие, и как сила в созидании будущего. Во Франции к изучению настоящего относятся столь серьезно, что читается специальный курс современной истории и выпускаются соответствующие учебники. Не исключено, что по мере дальнейшего разделения труда, от которого выигрывают как наука, так и правительство, подобная же кафедра может в один прекрасный день быть учреждена и в нашей стране. Тем временем мы поступили бы предусмотрительно, отметив пункты, в которых две упомянутые эпохи расходятся. Ибо современность отличается от новой истории тем, что многие из текущих событий не могут быть доступны нам в необходимой полноте и определенности. Живущие не раскрывают своих секретов с откровенностью покойных; один из ключей всегда отсутствует, и для достижения необходимой точности должно сойти со сцены поколение. Слухи, молва и внешняя видимость суть дурные копии реальности, какой она известна посвященным. Даже истинная причина события столь памятного, как война 1870 года, все еще окутана неизвестностью; большая часть наших представлений о ней рассыпалась за последние полгода в прах, и сверх того ожидаются еще новые показания важных свидетелей. История в

гораздо большей мере покоится на достоверности фактов, нежели на их избытке.

Но как ни важна достоверность, еще большее значение имеет беспристрастие. Процесс, в результате которого были открыты и усвоены основополагающие принципы, отличается от процесса их практического применения; самые святы и бескорыстные наши убеждения должны формироваться в неподвижной атмосфере, над бурями и смятением нашей насыщенной деятельностью жизни. Ибо общество справедливо презирает человека, имеющего одно мнение для истории, другое — для политики, одно — для дел заграничных, другое — для внутренних, одно — для оппозиции, другое — для министерского кресла. История заставляет нас держаться твердых убеждений, уберегает от временного и преходящего. Политика и история переплетены, перемешаны, но вместе с тем и несопоставимы. Нам всецело принадлежит область, простирающаяся далее государственных интересов, неподведомственная юрисдикции правительств. Именно нам вверено не упускать из виду и из-под контроля движение идей, которые являются не следствием, но причиной событий; нам поручено даже до известной степени отдавать предпочтение священной истории перед мирской, ибо такова серьезность затронутых в писании вопросов и жизненная важность последствий возможных заблуждений, что именно Библия проложила путь исследованию и первой стала предметом пристального изучения для строгих мыслителей и выдающихся ученых.

Точно также имеется мудрость и глубина в философии, которая всегда усматривает в первопричине, истоке и величавой красоте истории единый согласованный эпос. При этом каждый историк должен знать, что достояние, власть над которым он получает, обретается ценой ограничения, призванного положить конец разногласиям. Путаница происходит от теории Монтескье и мыслителей его школы, которые, приняв один и тот же термин для обозначения несхожих вещей, утверждают, что свобода есть первобытное состояние того племени, от которого мы произошли. Но если

мы возьмем в расчет разум, а не материю, идеи, а не силу; если мы рассмотрим духовное богатство, сообщающее достоинство, стройность и интеллектуальную ценность истории, и его воздействие на идущую по восходящей линии жизнь человека, то мы утратим склонность объяснять всеобщее национальным, а цивилизацию — обычаем. Монолог Антигоны, фраза Сократа, несколько строк, вырезанных на индийской скале в эпоху до Второй пунической войны, следы безмолвного, но в то же время пророческого народа, обитавшего на берегах Мертвого моря и исчезнувшего после падения Иерусалима, — все это ближе к нашей жизни, чем наследственная мудрость варваров, откармливавших своих свиней желудями герцинской Европы.

Итак, для наших сегодняшних целей я определяю новую историю как период, начавшийся четыреста лет назад, отграниченный отчеливо различимой чертой от непосредственно предшествующего ему времени и несущий в себе присущие только ему отличительные особенности. Новое время пришло на смену средневековью не в обычном порядке, с передачей внешних символов на права законного наследования. Нагрянув внезапно, оно установило новый порядок вещей, подчиненный закону обновления, который незаметно подтачивал древнее царство непрерывной преемственности. В эти дни Колумб перевернул представления о нашем мире, а заодно с ними — и условия производства, обогащения и власти; в эти дни Макиавелли освободил правительства от налагаемых законом ограничений; Эразм изменил стиль изучения древности, повернув поток из языческого русла в христианские каналы; наконец, Коперник вызвал к жизни неодолимую силу, навсегда наложившую печать прогресса на эпоху, которой предстояло наступить. Умы редкостных философов осеняет та же безграничная оригинальность, ведет тот же дерзкий отказ от завещанных предками установлений, которые обнаружили себя в открытии Божественного права и посягательстве на империализм папского Рима. Подобные проявления времени были явственны повсюду: одно и то же поколение узрело их воочию. Это было пробуждение к новой

жизни; земля словно бы вышла на новую орбиту под воздействием прежде неведомых сил. После череды эпох, проникнутых чувством крутого сползания под откос и надвигающегося распада общества, эпох, руководимых обычаями и волей наставников, давно сошедших в могилы, шестнадцатое столетие шагнуло вперед с новым, еще неопробованным оружием в руках, готовое с надеждой смотреть в лицо непредвиденным переменам.

Это передовое движение глубокой чертой отделило новый мир от старого, и единство нового возвестило о себе охватившим весь мир духом исследования и открытия, неустанным в своей деятельности, выдержавшим неоднократные наступления реакции и продержавшимся до той поры, когда, с воцарением общих идей, которые мы называем Революцией, оно, наконец, возобладало. Последовательное освобождение, постепенный переход — со всем тем добрым и дурным, что ему сопутствовало, — от слепого подчинения к независимости есть явление первостепенной для нас важности, ибо историческая наука была одним из средств его конечного успеха. Если Прошлое выступает в роли препятствия и обузы, то знание Прошлого является вернейшим и надежнейшим раскрепощением. Средневековье, давшее замечательных повествователей о событиях современных, не находило в себе достаточной серьезности и терпения для вдумчивого изучения событий прошлого. Люди той поры охотно шли на то, чтобы быть обманутыми, радовались возможности жить в полумраке вымыслов, в тумане недостоверных свидетельств, изобретаемых ради их собственного удовольствия, с готовностью приветствовали всевозможных фальсификаторов и плутов. Но постепенно атмосфера всеобщей узаконенной лжи редела, пока, наконец, в эпоху Ренессанса искусство изобличения обмана ни забрезжило в умах даровитых итальянцев. Именно в Италии зародилось наше теперешнее понимание Истории; там явилась блистательная династия ученых, к которым мы по сей день обращаем свой взгляд как в поисках метода, так и в поисках материала. В отличие от дремотного доисторического мира наш мир видит необходи-

мость и долг в том, чтобы овладеть более ранними временами и не упустить ничего из добытой ими мудрости и завещанных ими предостережений, — и потому посвятил свои лучшие силы и богатство верховной цели выявления заблуждений и утверждения выверенной истины.

В нашу эпоху вошедшей в возраст истории люди не соглашаются безропотно сносить немилые им условия существования. Почти ничего не беря на веру, они предприняли попытку выяснить, на какой почве они стоят, каким путем идут, и почему эти почва и путь такие, а не иные. Поэтому и историк приобретает над современными людьми столь сильное и все возрастающее влияние. Патриархальный уклад уступил могуществу мысли, всегда изменчивой и быстро обновляющейся, дающей жизнь и движение, на крыльях пересекающей моря и границы, делающей тщетными всякие попытки удержать последовательный ход вещей в узких пределах изолированно живущих народов. Мысль заставляет нас осознавать существование обществ, охватывающих наше собственное, участвовать в их жизни, знакомиться с образцами удаленными и необычными, стремиться к высочайшим вершинам, держаться центрального направления, жить в том обществе героев, святых и гениев, которое не под силу создать одной стране. Мы не можем позволить себе бездумно потерять из виду великих людей и достопамятные судьбы, мы обязаны, насколько это возможно, собирать и хранить все, достойное восхищения; ибо следствием безжалостных изысканий является то, что число подобных объектов неуклонно сокращается. Нельзя, например, вообразить себе опыта более будоражащего и воодушевляющего, чем проследить работу мысли Наполеона, замечательнейшего и с наибольшей полнотой изученного из людей, принадлежащих истории. Если обратиться к другой сфере, то близкое соприкосновение с личностью Фенелона открывает перед нами иной, возвышенный мир человека, ставшего драгоценнейшим образцом для политических деятелей, священнослужителей и литераторов, явившегося свидетелем против одного столетия — и предтечей другого, защитником бедных и

обездоленных перед лицом их угнетателей, поборником свободы в эпоху самовластия, терпимости — в эпоху преследований, провозвестником гуманных добродетелей среди людей, привыкших безропотно приносить себя в жертву прихотям власти, человеком, о котором один из его врагов сказал, что его умственные способности простирались до того, чтобы вселять ужас, а другой — что из самых глаз его обильно исходило сияние гения. Ибо лишь величайшие и благороднейшие умы доставляют нам поучительные примеры. Человек заурядных данных, невысокой пробы — попросту не знает, что думать об ограниченном круге своих идей, как оторвать свои желания и волю от окружающей среды и возвыситься над гнетом времени, племенной принадлежности и обстоятельств, как избрать путеводную звезду, как исправить, проверить, испытать свои убеждения в свете внутреннего знания, как, заручившись поддержкой безупречной совести и совершенного мужества, переделать, пересоздать свою личность, данную ему рождением и образованием.

Что же касается нас самих, то если бы международная история даже и не была занята поисками возможности подняться на новый уровень и расширить свой кругозор, она все же оставалась бы обязательной для нас уже в силу той единственной и вполне частной причины, что парламентские отчеты моложе парламентов. Иностранец не видит в своем государственном устройстве ничего таинственного, никаких *arcana imperii*¹. Для него в основание власти легли обнаженные в своей простоте положения; каждое двигательное начало, всякое назначение этого устройства рассчитаны так же ясно и определенно, как в часовом механизме. Но с нашей местной конституцией, нерукотворной и не занесенной на бумагу, однако претендующей на то, что она развивается в соответствии с законом органического роста; с нашим неверием в ценность определений и общих принципов, с нашей привычкой полагаться на относительные истины — мы не можем надеяться получить у себя нечто равнозначное тем

¹ государственных тайн (лат).

живым, долгим и плодотворным дебатам, которые в других обществах выявили сокровеннейшие тайны и глубочайшим образом упрятанные пружины политической науки, сделав их доступными для всякого, кто умеет читать. И учредительные собрания в Филадельфии, Версале и Париже, Кадисе и Брюсселе, в Женеве, Франкфурте, Берлине, и — едва ли не более всех прочих — в самых просвещенных штатах Американского Союза, перестроив свои институты власти, заняли первенствующее место в политической литературе и предложили миру сокровища, которыми мы в нашей стране никогда не располагали.

Для историков последняя по времени часть их необозримого предмета в особенности драгоценна тем, что она неисчерпаема. Она — лучшее, что можно знать, ибо лучше всего изучена и отличается наибольшей определенностью. Сцены более ранние вырисовываются на фоне полного и непроглядного мрака. Мы весьма быстро достигаем области безнадежного неведения и бесплодных сомнений. Наоборот, сотни и тысячи людей новой истории оставили документальные свидетельства своей жизни и могут быть изучены на основе их частной переписки и судимы на основании их собственных признаний. Их деяния были совершены при свете дня. Все страны открывают свои архивы и приглашают нас проникнуть в сокровенные тайны государства. Когда Гэллам писал свою главу о Якове II, Франция была единственной державой, чьи документы были доступны. За нею последовали Рим и Гаага; затем открылись хранилища итальянских государств, наконец, архивы Пруссии, Австрии и, частично, Испании. Если Гэллам и Лингар зависели от Барийона, то их последователи черпают из дипломатических досье десяти правительств. В действительности имеется совсем немного тем, материалы по которым изучены настолько, что мы можем довольствоваться выполненной до нас работой и никогда не пожелаем заново проделать труд исторического осмысления. Отдельные периоды жизни Лютера и Фридриха, кое-что о Тридцатилетней войне, немало об американской революции и французской реставрации, ранние годы

Ришелье и Мазарини, несколько томов г-на С. Гардинера — вот наши земли, то там, то тут выступающие над необозримой гладью неведомого, подобно островам в Тихом океане. Даже говоря о самом Ранке, при всем почтении к этому плодовитейшему и одареннейшему из историков-землепроходцев Европы, который возглавил поистине героическое исследование архивов, мне не следовало бы допустить и мысли, что хотя бы один из его семидесяти томов не был перекрыт и частично улучшен. Именно благодаря по большей части его воодушевляющему влиянию наша область науки стала так неуклонно и последовательно развиваться, в результате чего превосходнейший мастер был вскоре превзойден лучшими учениками. Для одних только ватиканских архивов, в настоящее время открытых всем желающим, потребовалось, когда их отправляли во Францию, 3239 ящиков, причем это еще не богатейшая коллекция документов. Мы все еще находимся в самом начале документальной эры, которая будет тяготеть к тому, чтобы сделать историю независимой от историков, чтобы развивать фактические исследования за счет написания текстов, и в этом же смысле совершить революцию и в других областях науки.

Если же говорить о людях вообще, то перед ними мне следовало бы оправдать тот упор, который я делаю на новую историю, не тем, что она изменила благосостояние или разорвала с прецедентом, не нескончаемостью перемен и ускорением развития, даже не все возрастающим преобладанием выработанного мнения над верованиями и знания — над мнением, но тем доводом, что она есть повесть о нас самих, рассказ о нашей собственной и ничьей больше жизни, об усилиях, все еще не отброшенных и не забытых, о проблемах, которые все еще занимают сердца людей и сбивают их с пути. Каждая ее часть насыщена бесценными уроками, которые нам приходится усваивать на собственном горьком опыте, приобретать дорогой ценой, если мы не научились извлекать пользу из оставленных нам примеров и наставлений тех, кто жил в этом мире до нас, притом в обществе, в своих основных чертах весьма похожем на наше. Изучение новой истории до-

стигает своей цели даже и в том случае, если всего лишь делает нас мудрее, не побуждает к написанию книг, но вручает нам дар исторического мышления, который драгоценнее исторического исследования. Она — самая мощная составляющая формирования личности и воспитания таланта, и наши исторические суждения в той же мере сопряжены с верховными упованиями, с тем, чего ждет от человека Всевышний, что и наше общественное и частное поведение. Убеждения, процеженные сквозь все превратности и испытания нового времени, несопоставимо выигрывают в основательности и силе перед убеждениями, смущаемыми всяким новым обстоятельством, которые часто немногим лучше обольщений, а то и просто чуждых мысли предрассудков.

Первой из забот человеческих является религия, и она — нагляднейшая черта столетий новой истории, ставших ареной развития протестантских движений. После времени крайнего равнодушия, невежества и упадка эти движения внезапно вырвались наружу в форме конфликта, которому предстояло бушевать так долго — и бесконечных последствий которого никто не мог вообразить. Догматическая убежденность — ибо я остерегаюсь говорить о собственно вере в связи со многими особенностями тех дней — догматическая убежденность возвысилась до универсального средоточия интересов и вплоть до Кромвеля оставалась величайшей силой и верховным побуждением общественных течений. Затем пришло время, когда интенсивность длительного конфликта и самая энергия антагонистической непоколебимости сторон несколько ослабли, и полемический дух начал высвобождать место духу научного исследования; и далее, по мере того, как буря ослабевала, обнажая область вопросов упорядоченных и согласованных, наибольшая часть распри была оставлена невозмутимому и умиротворяющему попечению историков, наделенных, как водится, исключительным правом подыскивать делу религии спасительные оправдания от многих несправедливо возводимых на нее упреков и от куда более серьезного зла упреков справедливых. Ранке не уставал повторять, что церковные интересы преобладали

в политике до самой Семилетней войны, причем последней вехой проникнутого ими общества считал битву при Лейтене, когда бранденбургские воинства шли в атаку на австрийцев, распевая лютеранские гимны. Это смелое предположение может быть оспорено даже применительно к современной эпохе. Когда сэр Роберт Пил расколол свою партию, те из руководителей, которые за ним последовали, провозгласили единственной приемлемой основой восстановления партии принцип непримиримости по отношению к папизму. С другой стороны, когда в июле 1790 года разразилась Франко-прусская война, единственным правительством, настаивавшим на уничтожении светской власти, было австрийское; а с тех пор мы еще были свидетелями падения Каstellара вследствие его попыток примирить Испанию с Римом.

Вскоре после 1850 года несколько дальновидных французов, сопоставившие факт прекращения прироста населения Франции с выразительной статистикой дальних владений Британской империи, предрекли грядущее преобладание английской расы. Но ни они и никто другой не могли тогда предсказать еще более внезапный подъем Пруссии или того факта, что к концу столетия тремя наиболее важными странами на планете будут страны, главным образом принадлежащие к завоеваниям Реформации. Следовательно и в религии, как и во множестве прочих областей, последние столетия оказались благоприятными для элементов нового, и центр тяжести цивилизации, переместившийся от народов средиземноморских к океаническим, от народов латинских к тевтонским, вместе с тем перешел и от католичества к протестантству.

В стороне от этих споров продолжали свой путь политическая, а с нею и историческая науки. Именно в период пуританства, до реставрации Стюартов, теология, мешаясь с политикой, произвела основополагающую перемену. Английская реформация семнадцатого столетия была по существу в меньшей мере борьбой церковью, чем борьбой сект, часто разделяемых не столько вопросами догматическими, сколько дисциплинарными и уставными. Сектанты не возлагали

надежд и не строили планов возобладать в национальном масштабе, они больше были заняты индивидом, чем конгрегацией, молельнями — чем государственными церквями. Кругозор их был ограничен, но зрение обострено. Им открылось, что правительства и институты власти преходящи, как все земное, тогда как души человеческие бессмертны; что свобода отстоит от власти не дальше, чем вечность от времени; и что поэтому области принуждения должны быть положены установленные пределы, а то, что прежде осуществлялось правительством, внешней дисциплиной и организованным насилием, следует попробовать вручить разделению власти и подчинить разуму и совести свободных людей. Тем самым на смену господству воли над волей водворялось господство разума над разумом. Истинными апостолами терпимости являются не те, кто хотел защитить свои собственные интересы или кто вовсе не имел интересов, нуждающихся в защите, но те, для кого, безотносительно к их собственному делу, терпимость была политической, нравственной и богословской догмой, вопросом совести, увлекающим и религию, и политику. Таким человеком был Социн; других — таких, как основоположник движения индпендентов и патриарх квакеров Пенсильвании — выдвинули сходные секты. Энергия, пыл и рвение, прежде работавшие на утверждение доктрины и ее авторитет, теперь были обращены на свободу проповеди и пророческого толкования. Самый воздух был насыщен душевным подъемом и возгласом обновления — но причина этому была все та же. Сделалось обыкновением гордиться тем, что религия есть мать свободы, а свобода — законный отпрыск религии; и это преобразование, это ниспровержение установившихся форм политической жизни, достигнутое за счет развития религиозной мысли, приводит нас в самое сердце моего предмета, к существеннейшему моменту, к средоточию исторических циклов вокруг нас. Начав с мощного религиозного движения и самого изысканного деспотизма, оно привело к первенству политики над божественным правом в жизни народов, и завершилось требованием в равной мере оградить каждого

человека от каких бы то ни было помех со стороны другого человека в исполнении первым своего долга перед Богом, — так выявилась чреватая бурей и разрушением доктрина, составляющая тайную сущность Прав Человека и неистребимую душу Революции.

Когда мы рассматриваем, чем были враждебные свободе силы, их продолжительное сопротивление, их частое возвращение на историческую сцену; когда мы вглядываемся в критические периоды истории — годы 1685, 1772, 1808, моменты отчаянной и, казалось, навсегда проигранной и безнадежной борьбы, — то нам перестает казаться преувеличением мысль, что продвижение человечества в сторону самоуправления было бы остановлено, не обрети оно свою стойкость в религиозном подъеме семнадцатого столетия. И эта неизменность прогресса, прогресса в сторону организованной и гарантированной свободы, есть характерная черта новой истории, ее дань теории Провидения. Многие, я в этом совершенно уверен, могли бы заметить, что все сказанное тут есть на деле не более чем старая повесть, тривиальное общее место; могли бы оспорить доказательство того, что человечество движется вперед за счет чего-то, отличного от разума, что оно становится свободнее, и что увеличение свободы вообще есть прогресс или приобретение. Мой учитель Ранке отвергал только что изложенную мною позицию; Конт, наставник лучших, полагал, что мы волочим длинную цепь, обремененные тяжестью и наделенные собственностью, которую не имеем возможности передать другим; и многие из наших классиков последнего времени — Карлейль, Ньюмен, Фруд — были убеждены, что не существует прогресса, оправдывающего пути, которыми Бог являет себя человеку, и что самое укрепление свободы есть движение вспять и вслепую, как пятятся раки. Они полагают, что предубеждения и меры предосторожности против дурного правительства препятствуют установлению хорошего, что такого рода заботы способствуют вырождению морали и здравого смысла, отдавая способных на милость неспособным, низводя с престола просвещенную добродетель ради выгод людей посредствен-

ных. Эти люди утверждают, что великие и благотворные достижения принесла человечеству именно власть сосредоточенная, а не уравновешенная, нейтрализованная и распределенная, и что теория вигов, явившаяся на свет из распадавшихся религиозных общин, теория, согласно которой власть законна только в силу поставленных ей преград и что верховный правитель зависит от подданных, — что эта теория есть бунт против божественной воли, о которой всем своим течением возвещает река времен.

Я привел это возражение не для того, чтобы мы могли пуститься в решительный спор в области знания, не вполне совпадающей с нашей, но для того, чтобы отчетливо обозначить мое стремление с помощью определения через явное противоречие. Ни одна из политических догм не служит сейчас моей цели полнее и надежнее, чем сентенция, согласно которой историк должен держаться правила выискивать все мыслимые достоинства другой стороны и избегать какого бы то ни было пристрастия или благоприятного преувеличения, когда речь заходит о его своей собственной стороне. Подобно экономической заповеди *laissez faire*¹, которую восемнадцатое столетие вывело из Кольбера, этим правилом был сделан важный, если не окончательный шаг в создании метода. Верно, что наиболее сильные и выразительные личности, такие как Маколей, Тьер, а с ними и два величайших из ныне живущих историков, Моммзен и Трейчке, оставляют на выходящих из-под их пера страницах явственную печать своей личности. Таково обыкновение, приличествующее великим людям, а великий человек может иной раз стоять нескольких безупречных историков. С другой стороны, имеется большая правда в высказывании, что историк выставляет себя в наилучшем виде там, где он по видимости отсутствует. Так что нашей цели лучше служит пример оксфордского епископа, который никогда не давал нам ни малейшего представления о том, что он думает об излагаемых фактах; а также пример его прославленного французского соперника,

¹ невмешательства (фр.)

Фюстеля де Куланжа, сказавшего наэлектризованной аудитории: «Не воображайте, что вы слушаете меня: моими устами говорит сама история.» Мы не отыщем цельной философии, рассматривая четыре столетия в отрыве от трех тысячелетий: это был бы несовершенный и ошибочный подход, ведущий к ложному заключению. Но я надеюсь, что даже это узкое и не в надлежащей мере назидательное сечение истории поможет вам увидеть, что дело, с которым Христос явился среди людей, чтобы искупить грехи человечества, продолжается и набирает силу; что божественная мудрость обнаруживает себя не в совершенстве, но в исправлении мира; и что достигнутая свобода есть единственный этический результат, покоящийся на сошедшихся вместе условиях идущей вперед цивилизации. Тогда вы поймете высказывание знаменитого философа о том, что история есть развернутое во времени свидетельство истинности религии.

Но что же имеют в виду люди, провозглашающие, что свобода — это пальмовая ветвь, награда и венец, и видящие при этом, что для столь торжественно именуемой идеи имеется полных двести определений и что это богатство интерпретации термина принесло с собою больше кровопролития, чем что бы то ни было еще, исключая разве лишь теологию? Равнозначна ли свобода французской демократии, американскому федерализму, всецело владеющей умами итальянцев национальной независимости, или, быть может, это власть достойных, являющаяся идеалом немцев? Не знаю, войдет ли когда-либо в круг моих обязанностей проследить медленный прогресс этой идеи, ее продвижение сквозь многообразные в своей пестроте сцены нашей истории, и описать, как хрупкие умственные построения, затрагивающие природу совести, служили возвышению более благородной духовной концепции свободы, берущей совесть под защиту, — пока блюститель прав не развился в попечителя обязанностей, которые всегда являются источником прав, а сила, некогда почитавшаяся гарантией богатства земного, не была освящена как нерушимая гарантия ценностей духовных. Все, в чем мы сейчас нуждаемся, это рабочий подход к истории, ключ для еже-

дневного в нее проникновения, и наша непосредственная цель может быть достигнута без отсрочки, рассчитанной на то, чтобы угодить философам. Не задаваясь вопросом о том, как далеко Сараса или Кант, Батлер или Вине продвинулись в понимании непогрешимого голоса Всевышнего в душе человеческой, мы легко придем к соглашению в другом, именно: что там, где некогда безраздельно царил абсолютизм, опиравшийся на несокрушимые армии, концентрацию власти и собственности, приспешествующие церкви бесчеловечные законы, там он более не царит; что в наше время, когда коммерция восстала против землевладения, труд — против зажиточности, государство — против господствующих в обществе сил, разделение труда — против государства, мысль индивидов — против веками заведенных порядков, — ни правительства, ни меньшинства, ни большинство не могут более требовать прямого повиновения; и что там, где в течение долгого времени шли напряженные поиски и накопление опыта, где утвердились испытанные убеждения и глубоко усвоенное знание, где достигнут высокий уровень всеобщей нравственности, образования, мужества и самоограничения, там — и едва ли не только там — можно найти общество, демонстрирующее условия жизни, в сторону которых, пусть по временам и обращаясь вспять, человечество продвигалось и продвигается в течение выделенного периода времени. Вы распознаете это по внешним приметам, таким, как представительство, отмирание рабства, господство выношенного мнения и тому подобное; но еще убедительнее говорят об этом свидетельства не столь наглядные: возросшая социальная защищенность наиболее слабых общественных групп и свобода совести, которая, обретая действительную защиту, сама ставит под свою защиту все прочее.

Здесь мы достигли точки, в которой мое рассуждение грозит обернуться противоречием. Если вершинные завоевания общества чаще достигались путем насилия, чем путем уступок и снисходительности, если подспудный ход вещей направлен в сторону судорог и катастроф, если своей религиозной свободой мир обязан Голландской революции, кон-

ституционным правительством — Английской, федеральным республиканизмом — Американской, политическим равенством — Французской, то спрашивается, что же ожидает нас, вдумчивых и внимательных исследователей захватывающего прошлого? Торжество революционера унижает, если не уничтожает историка. Революция минувшего столетия, по мнению таких заслуживающих доверия ее истолкователей, как Джефферсон и Сьейес, на деле отвергает историю. Их последователи не видят смысла в том, чтобы знакомиться с историей, готовы уничтожить ее свидетельства, а вместе с ними — и ни в чем не повинных профессоров. Но неожиданная истина, более причудливая, чем вымысел, состоит в том, что это вовсе не крушение, но обновление истории. Прямо и косвенно, через развитие и через реакцию, она получила толчок, сделавший ее бесконечно более действенным фактором цивилизации, чем она была прежде, причем в сфере человеческой мысли началось движение более глубокое и серьезное, чем если бы речь шла о простом возрождении древней учености. Это раскрепощение, этот отказ от уз, в условиях которого мы живем и трудимся, заключается прежде всего в отходе от духа отрицания, отвергающего закон роста, отчасти же — в усилиях классифицировать и упорядочить революцию и объяснить ее действием естественных исторических причин. При этом ряд консервативных авторов, объединяемых принадлежностью к романтической, или исторической, школе и живших в Германии, расценивает революцию как чужеродный эпизод, как заблуждение века, болезнь, лечить которую надлежит путем исследования ее происхождения, не жалея усилий на то, чтобы соединить разорванные связи и восстановить нормальные условия естественно-постепенного развития. Либеральная школа, представители которой жили во Франции, объясняла и оправдывала революцию, видя в ней правильный и закономерный результат хода исторического развития, зрелый плод истории. Таковы два основных направления мысли поколения, которому мы обязаны научными представлениями и методами, сделавшими историю столь непохожей на ту, какую ее виде-

ли в нашем веке последние из представителей минувшего столетия. При этом если говорить о каждом из новаторов по отдельности, то необходимо признать, что они ни в чем не превосходили старых мыслителей. Муратори не уступал новым авторам популярностью, Тиймон — точностью, Лейбниц — талантом, Фрере — острою, Гиббон — искусством композиционных построений. Тем не менее во второй четверти девятнадцатого столетия для историков началась новая эра.

Мне следует в особенности указать на три момента из числа тех многих, которые в итоге составили изменившийся к лучшему порядок вещей. О неиссякаемой лавине нового и непредвиденного материала говорить почти не приходится. В течение нескольких лет в Париже был открыт доступ к секретным архивам папского престола; но тогда их время еще не пришло, и едва ли не единственный человек, который ими воспользовался, был сам архивариус. Ближе к 1830 году развернулось широкое изучение первоисточников, тон в котором задавала Австрия. Причем Мишле, претендовавшего около 1836 года на первенство, на самом деле обошли такие его соперники как Макинтош, Бухольц и Минье. Новый и более продуктивный период начался тридцать лет спустя, когда война 1859 года открыла для нас трофеи Италии. Одна за другой все страны получили возможность исследовать ее материалы, и их оказалось столько, что тут в пору говорить не о пересыхающем потоке, но об опасности утонуть в нем. В итоге стало ясно, что целой жизни, отданной занятиям в даже самом большом собрании печатных книг, недостаточно для подготовки настоящего специалиста по новой истории. Но и обратившись от литературы к источникам, от Бернета к Пококку, от Маколея к мадам Кампана, от Тьера к нескончаемой переписке Бонапартов, историк все же продолжал чувствовать по временам неотложную потребность навести справки в Венеции или в Неаполе, в Оссунской библиотеке или в Эрмитаже.

В настоящее время эти вопросы нас не беспокоят. Ибо наша цель, то важнейшее, чему следует научиться, есть не

искусство накопления сведений, но более высокое искусство исследования накопленного, отделения истины от вымысла, несомненного от сомнительного. Изучение истории сообщает новую силу нашему разуму, исправляет ход нашей мысли и расширяет наш кругозор не столько через полноту эрудиции, сколько через основательно развитое критическое мышление. Поэтому вступление критика на место, принадлежавшее неумолимому компилятору, художнику красочного повествования, искусному портретисту исторических личностей, убедительному адвокату добра и других мотивов, можно с полным правом назвать преобразованием правления или сменой династии в королевстве истории. Ибо лишь критически настроенный ум, натолкнувшись на интересное высказывание, начинает с того, что ставит его под сомнение. Он остается в нерешительности, пока не подвергнет свой источник трем испытаниям. Прежде всего он спрашивает себя, прочел ли он отрывок так, как автор написал его. Ибо переписчик, редактор, официальный и неофициальный цензоры, поставленные над редактором, подчас исхитряются проделывать с текстом престранные фокусы и должны за многое нести ответственность. Но если на них и нет вины, то может еще оказаться, что автор переписывал свою книгу дважды, и вы в состоянии отыскать первичные наброски, последующие варианты, вставки и сокращения. Далее является вопрос о том, где писатель получил изложенные им сведения. Если он пересказывает другого автора, это может быть установлено, после чего только что описанное исследование должно быть повторено. Если он почерпнул свои данные из неопубликованных документов, необходимо попытаться отыскать и изучить их, и в том пункте, где вы либо теряете след, либо находите, откуда бьет ключ, перед вами встает вопрос о достоверности сообщения. Личность автора, его положение, его прошлое и вероятные побуждения должны быть тщательно изучены; именно это, в меняющемся сообразно конкретному случаю смысле слова, может быть названо высшим критическим подходом, сравнительно с рабским и часто механическим прослеживанием высказываний до их корней.

Ибо к историку надлежит относиться как к свидетелю, а значит, и не брать его слов на веру, пока его искренность не установлена с очевидностью. Суждение, предписывающее считать человека невинным, пока его вина не доказана, на историка не распространяется.

Итак, оценка документов, взвешивание свидетельств является для нас занятием, в большей мере заслуживающим похвалы, чем потенциальное открытие новых материалов. Причем новая история, представляющая собою широчайшую область знания, не служит лучшим объектом для усвоения круга наших обязанностей; ибо она слишком широка, и собранный в ней урожай еще не столь основательно просеян, как в области древней истории и средневековья до крестовых походов. Разумнее рассмотреть, что сделано при изучении вопросов более обзримых и ограниченных, таких как источники плутархова Перикла, два трактата об афинском государстве, происхождение послания к Диогнету, годы жизни св. Антония, — и, взяв в качестве наставника Швеглера, проследить, как начиналась эта аналитическая работа. Еще более убедительным, ибо здесь достигнуто больше определенности, явилось критическое рассмотрение средневековых писателей, проделанное параллельно с их новыми изданиями, на что было затрачено невероятное количество труда, и тут невозможно указать лучшего примера, чем предисловия епископа Стабба. Важным событием в этом ряду является выпад Дино Компаньи, который во имя Данте вызвал на неравное состязание лучших итальянских ученых. Когда нам говорят, что Англия отстает от европейского континента в смысле своей способности к критике, мы должны признать, что это справедливо лишь в количественном отношении, и неверно, если речь идет о качестве проделанной работы. Поскольку их нет более в живых, я должен сказать о двух кембриджских профессорах, Лайтфуте и Хорте, что ни один француз или немец ни в чем не превзошел критический дар этих ученых.

Третьим отличительным признаком поколения историков, вырвавших столь глубокий ров между историей, извест-

ной нашим дедам, и историей, представшей нашему взору, явился принцип беспристрастия. Для рядового человека это слово значит не более чем справедливость. Он полагает, что может провозглашать достоинства своей собственной религии, своей благоденствующей и просвещенной страны, своих политических убеждений, будь то демократия, либеральная монархия или исторический консерватизм, не совершая прегрешения и не нанося никому обиды, коль скоро он при этом отдает должное относительным, хотя и низшим сравнительно с его собственными, достоинствам других и никогда не называет людей праведниками или негодьями, исходя из того, на чьей они стороне. Он полагает, что не существует такого беспристрастия, как беспристрастие судьи, отправляющего преступника на виселицу. Но те, кто с компасом критического мышления пускались, не имея карты, в плавание по просторам оригинального исследования, отправлялись от другого взгляда. Чтобы возвыситься над вымыслом, уловками и спорами, история должна иметь под собою документы, а не мнения. Историки этого поколения исходили из собственного понимания истины, выработанного на основе преодоления все более возрастающих трудностей в отыскании частичных истин — и еще больших трудностей выражения найденного. Они считали возможным писать с такой подробной добросовестностью, простотой и пронизательностью, что увлекали за собою каждого человека доброй воли и, каковы бы ни были его чувства, вынуждали его соглашаться с ходом их мысли. Идеи, которые в религии и в политике выступают в форме истины, в истории действуют как силы. Их необходимо уважать и недопустимо утверждать. Посредством высочайшей сдержанности, усиленного самоконтроля, своевременного и осторожного бесстрастия, с помощью тайны в вопросах вынашиваемого ею приговора — история может быть поднята выше раздоров и сделана признанным трибуналом, единым для всех. Если люди до конца искренни и не руководствуются в своем суждении другими критериями, кроме очевидной нравственности, то христианин и язычник в одних и тех же словах опишут вам

Юлиана, католик и протестант — Лютера, виги и тори — Вашингтона, патриот французский и патриот немецкий — Наполеона.

Я с почтительной благодарностью говорю об этой школе, много сделавшей для утверждения исторической правды и на законном основании царившей в умах. Она дает дисциплину, которую каждому из нас было бы полезно испытать, — но вслед за тем, пожалуй, и оставить. Ибо в ней сосредоточена не вся правда. Очерк Ланфрея о Карно, революционные войны в изложении Шюке, военные мемуары Роупса, Женева времен Кальвина как она описана у Роже — дадут вам примеры более здоровой, но и более трудной беспристрастности, чем только что мною описанная. Ренан называет ее роскошью богатого и аристократического общества, которая обречена погибнуть в ходе эпохи свирепой и отвратительной борьбы. В наших университетах она имеет пышно обставленное пристанище; и чтобы послужить ее делу, которое свято, ибо является делом истины и чести, мы можем позаимствовать полезный урок из в высшей степени ненаучной области общественной жизни. В этой области человеку не требуется продолжительного времени для того, чтобы уяснить себе, что ему противостоят люди более достойные и талантливые, чем он сам. И если задаться целью понять космическую силу и истинную взаимосвязь идей, то источником бодрости и превосходной школой принципиальности будет правило: не давать себе отдыха до тех пор, пока, отстраняя заблуждения, предрассудки, преувеличения, порождаемые нескончаемыми спорами и вытекающими из них предосторожностями, мы не выдвинули против наших оппонентов более сильных и выразительных соображений, чем представляемые ими. За одним исключением, к которому мы подойдем прежде, чем я отпущу вас, не существует заповеди, менее добросовестно соблюдаемой историками.

Ранке является истинным представителем эпохи, которая положила основание современному исследованию истории. Он учил, что это исследование должно быть критическим, лишенным красок и новым. Мы встречаем этого мастера

на каждом шагу, он сделал для нас больше, чем кто-либо другой. Имеются книги более сильные, чем любая из оставленных им, некоторые могут превосходить его в политической или религиозной, философской проницательности, в живости творческого воображения, в оригинальности, возвышенности и глубине мысли; но по объему важной и прекрасно выполненной работы, по влиянию на талантливых людей, по количеству знания, полученного и используемого человечеством — и несущего на себе печать его мысли, он не имеет себе соперника. Я видел его в последний раз в 1877 году, когда он выглядел поникшим, был слаб, почти полностью слеп и едва мог читать и писать. Свои прощальные слова ко мне он произнес с подчеркнутой сердечностью, и я с грустью подумал, что следующий раз услышу о нем, когда до меня дойдет весть о его смерти. Два года спустя он приступил к созданию своей всеобщей истории, семнадцать томов которой, написанные, когда автору перевалило за восемьдесят три года и далеко уводящие в глубь средневековья, хоть и несут на себе некоторый отпечаток увядания, но являются достойным завершением этой поразительной карьеры в литературе.

Его призвание определилось в молодости, при чтении *Квентина Дорварда*. Потрясенный тем, что Людовик XI в описании Вальтера Скотта не соответствует образу этого короля в мемуарах Коммина, Ранке решил, что отныне и впредь его верховной целью, не допускающей никаких уклонений, будет: в суровой неукоснительности подчиниться и с полной самоотдачей следовать своим авторитетам. Он решился до конца подавить в себе поэта, патриота, приверженца религии и носителя политических взглядов, не поддерживать никакого дела, отступить от своих книг — и ни писать ни строки, потворствующей его чувствам или приоткрывающей его частные взгляды и убеждения. Когда усердный богослов, подобно ему писавший об эпохе Реформации, приветствовал его как товарища, Ранке отклонил это сопоставление. «Вы, — сказал он, — в первую очередь христианин, я — прежде всего историк: между нами пропасть.» Он стал

первым выдающимся писателем, на деле воплотившим то, что Мишле определил как *le désintéressement des morts*¹. Это был его нравственный триумф: он сумел удержаться от произнесения приговоров, показать, что многое может быть сказано в пользу каждой из сторон, и оставить прочее Провидению. Он, вероятно, почувствовал бы расположение к двум знаменитым врачам, живущим сейчас в Лондоне, о которых рассказывают, что когда они не сумели сойтись во мнениях по поводу одного пациента и ответили уклончиво, а глава семьи потребовал определенного мнения, то они сказали ему, что им это не под силу, но что он без труда найдет пятьдесят других врачей, которые не затруднятся сделать это.

Нибур утверждал, что летописцы, писавшие до изобретения книгопечатания, обыкновенно всякий раз копировали какого-то одного своего предшественника и почти не имели представления о тщательном изучении и одновременном использовании нескольких источников. Это утверждение блестяще подтвердил Ранке; с присущими ему легкостью, искусством и опытностью он критически рассмотрел и разобрал важнейших историков, от Макиавелли до автора *Mémoires d'un Homme d'État*², причем с такой неумолимой строгостью, с какой прежде к представителям нового времени не подходили. Но если Нибур отбросил традиционное повествование, заменив его своим собственным построением, то именно Ранке было предназначено воздать должное мастерам прошлого: не подорвать, но сохранить авторитет тех из учителей, которым, в присущей им области, он мог всецело следовать и повиноваться. И хотя его преемники в следующем поколении не уступали ему в мастерстве и проделали еще большее количество тщательной и кропотливой работы, именно превосходные трактаты Ранке, которых он оставил множество и в которых во всем блеске обнаружил это свое искусство, являются лучшим введением в нашу область, способным научить нас тем методам, которые на памяти жи-

¹ беспристрастие мертвых (фр.)

² Мемуаров государственного деятеля (фр.)

вущих обновили исследования в новой истории. Современники Ранке, уставшие от его нейтралитета, от неопределенности его позиции, а также от полезной, но второстепенной работы, выполненной теми из начинающих ученых, которые одалживали его жезл и стило, — эти современники думали, что слишком большое значение придавалось вещам скромным и предварительным, которые человек сам может завершить для себя в тиши своего кабинета, с меньшими притязаниями на общественное внимание: ведь способность к этому уместно предположить в людях, искушенных в подобного рода фундаментальных частностях. И вот мы, которым предстоит освоить эти присущие нашей профессии частности, должны для этого углубиться в изучение великих примеров.

Если исключить чисто техническую сторону, то метод есть не более чем переложение и преломление обычного здравого смысла, и лучше всего он усваивается из рассмотрения творений талантливейших представителей всех мыслимых областей умственной деятельности. Бенхам признавал, что ему меньше дало чтение трудов по его специальности, чем сочинений Линнея и Куллена; Брум советовал студентам, изучающим юриспруденцию, начинать с Данте. Либих говорил, что его *Органическая химия* есть переложение идей *Логики* Милля; замечательный врач, которого мне не следует называть по имени, дабы он ненароком не услышал меня, для расширения своих медицинских познаний читал три книги: Гиббона, Грота и Милля. Он не устает повторять: «Образованный человек не может стать таковым на основе изучения только одного предмета, но должен испытать на себе действие мысли естественно-научной, гражданской и нравственной.» Я привожу здесь замечательные слова моего коллеги для того, чтобы ответить на них встречной посылкой. Если люди естественных наук чем-либо обязаны нам, то и мы можем научиться у них многим существенным вещам. Ибо они покажут нам, как осуществить доказательство, как удостовериться в полноте и здравости суждения с помощью индуктивного метода, как исходя из разумных ограничений построить гипотезу, как с надлежащей осторожностью вос-

пользоваться аналогией. Это они обладают тайной того загадочного свойства разума, которое обращает ошибку в служанку истины, так что в итоге истина медленно, но необратимо торжествует. Их достояние — логика открытия, картина поступательного движения познания и развития идей, которые — притом, что земные нужды и страсти человеческие остаются почти неизменными — есть верительная грамота прогресса, свидетельство жизни истории. Часто они дают нам бесценный совет именно тогда, когда сосредоточены на своем предмете и обращаются к людям своей области знания. Вспомните Дарвина, уделявшего внимание только тем утверждениям, которые создавали трудности на его пути; или французского философа, жаловавшегося, что его работа стоит, поскольку он не находит более фактов, противоречащих его построениям; или Бэра, который считает, что заблуждения, обнаруживавшие новые препятствия, вознаграждали его почти столь же щедро, как истина, — ибо, по словам сэра Роберта Болла, мы часто учимся именно на препятствиях: на их рассмотрении и обдумывании. Фарадей заявляет, что «в познании лишь тот достоин осуждения и презрения, кто не пребывает в переходном состоянии». И Джон Хантер говорил обо всех нас, когда сказал: «Никогда не спрашивайте меня о том, что я уже сказал или написал: спросите меня о моих сегодняшних мыслях — и я вам отвечу.»

С первых лет нашего века представители всех сфер умственной деятельности вносили свой вклад в оживление и обогащение нашей жизни. Юристы дали нам закон непрерывного роста, преобразовавший историю из летописи случайных происшествий в некое подобие чего-то органически развивающегося. К 1820 году богословы начали перерабатывать свои учения в духе принципа развития, о котором много позже Ньюмен сказал, что теория эволюции явилась чтобы подтвердить его. Даже экономисты, люди практические, растопили свою суховатую науку, обратив ее в текущую историю и утверждая при этом, что такова не вспомогательная, но подлинная тема их исследования. Философы утверждают, что уже 1804 году они начали преклонять свою метафизиче-

скую выю под историческое ярмо. Они учили, что философия есть лишь исправленная сумма учений всех философов, что системы уходят вместе с запечатлевшимися в них эпохами, что проблема состоит лишь в том, чтобы сфокусировать блуждающие лучи уцелевшей истины, и что история есть источник философии, если не полное ее замещение. Конт начал одну из своих книг словами о том, что преобладание истории над философией является отличительной чертой его времени. С тех пор как Кювье впервые выявил совпадение путей индуктивного открытия и цивилизации, пришла очередь естественных наук, которые тоже включились в процесс насыщения эпохи исторической мыслью и подчинения всех вещей тому влиянию, для которого были выдуманы такие принижающие названия как историцизм и историческая предрасположенность.

Я должен еще сказать несколько осуждающих слов о ряде известных недостатков, представляющих собою исправимые изъяны психики и сознания и являющихся нашими общими бедами. Во-первых, это недостаток активного понимания последовательности и действительной значимости событий; будучи гибельным для политического деятеля, он в то же время разрушителен и для историка, ибо историк есть политик, обращенный лицом к прошлому. Подход к делу, при котором исследователь видит лишь ничего не значащую, не пробуждающую мысли поверхность, является не более чем игрой в науку, — и это наш обычный подход. Затем, мы имеем курьезную склонность отбрасывать, а отчасти и забывать то, что было наверное известно до нас. Один-два примера пояснят мою мысль. Известнейший английский писатель рассказывает, как при нем титул тори был присвоен консервативной партии. Ибо в то время это была презрительная кличка людей, которым ирландское правительство предлагало деньги за выдачу преступников, — так что если я и в самом деле излишне уповаю на прогресс, то по крайней мере могу с некоторым самодовольством указать на этот случай как свидетельство улучшения наших манер. Однажды Тит Оутс, утратив терпение и пребывая в гневе на людей, кото-

рые отказывались ему верить, ухватился за обидное и язвительное словцо, годившееся для кипевшего на его устах проклятия, и начал называть консерваторов партией тори. Имя удержалось; но его происхождение, засвидетельствованное авторитетом Дефо, выпало из памяти людей, как если бы одни стыдились своего крестного отца, а других не беспокоило, что их станут отождествлять с его делом и личностью. Я уверен, что все вы знаете, историю новости о Трафальгаре, и как двумя днями после ее получения Питт, увлекаемый возбужденной толпой, отправился обедать в город. Когда пили за здоровье министра, спасшего свою страну, он отклонил эти похвалы, заявив: «Англия сама спасла себя своею собственной духовной мощью; и я надеюсь, что спасшая себя своей мощью спасет Европу своим примером.» Когда в 1814 году его надежда осуществилась, у нас вспомнили последнюю речь великого оратора и выбили медаль с его изречением, целиком уложившимся в четыре слова компактной латыни: *Seipsam virtute, Europam exemplo.*¹ Но ведь именно тогда, чуть ли не в самый день своего последнего появления на публике, Питт узнал о полном торжестве французов в Германии и о капитуляции Австрии в Ульме. Его друзья не сомневались, что борьба на суше совершенно безнадежна, что пришло время оставить континент завоевателю и отступить во владения нашей новой морской империи. Питт не согласился с ними. Он сказал, что Наполеон столкнется с настоящим препятствием там, где встретит всенародный отпор, что этот отпор ждет его в Испании и что настанет время, когда Англия вторгнется на территорию Франции. При этих словах присутствовал генерал Уэлсли, только что вернувшийся из Индии. Десять лет спустя, когда ему выпало завершить то, что Питт с прозорливостью ясновидящего предрек в последние дни своей жизни, он пересказал в Париже эту сцену и эти слова, которые я без колебания решаюсь назвать самым поразительным и полным предсказанием во всей истории политики, которая вообще отнюдь не бедна предсказаниями.

¹ Себя доблестью, Европу примером (лат.).

Мне никогда больше не выпадет честь излагать мои мысли перед таким собранием, как это, — и прельщенному столь благоприятной возможностью лектору впору было бы порыться в своей памяти в поисках какой-либо забытой истины или кардинального утверждения, способных служить в качестве выразительного эпиграфа, новейшей эмблемы или лозунга, а быть может, и цели. Я не помышляю сейчас о блестящих и ставших фамильным достоянием множества школ заповедях типа: учись столько же посредством писания, сколько посредством чтения; не соглашайся с лучшей из книг; сообразуйся с мыслями и наблюдениями других; не имей фаворитов в области мысли; не смешивай людей и вещи; остерегайся авторитета великих имен; удостоверься в том, что твои суждения действительно принадлежат тебе; не унывай, когда с тобою не соглашаются; ничего не бери на веру; строже суди идеи, чем действия; не закрывай глаза на силу зла или слабость добра; не удивляйся крушению идола или обнаружению неприглядной тайны; суди талант по его лучшим достижениям, а личность — по ее худшим проявлениям; подозревай скорее властолюбие, чем порок; наконец, изучай не столько эпохи, сколько конкретные проблемы, такие как становление Лютера, научное влияние Бэкона, предшественники Адама Смита, средневековые наставники Руссо, последовательность мысли Берка, личность первого из виггов. По большей части все это, я полагаю, бесспорно, и едва ли есть какая-либо необходимость в расширении списка этих заповедей. Но вот я сейчас поднимаю голос против господствующих представлений, когда призываю вас ни при каких обстоятельствах не допускать девальвации нравственности, снижения понятий о моральных устоях, наоборот, всегда оценивать других исходя из принципа, управляющего вашей собственной жизнью, и не допускать, чтобы человек или дело ускользнули от бессмертного приговора, который история имеет силу произнести над заблуждениями и преступлениями. Призывы к частичному прощению вины и смягчению наказания не прекращаются. На каждом шагу мы встречаем доводы в пользу извинения, приуменьшения и за-

малчивания дурного, смешения правого и неправого, низведения человека достойного и справедливого на уровень безнравственного и распутного. Замышляли сбить нас с толку, ставили препятствия работе историка прежде всего те, благодаря кому история предстает в ее теперешнем виде. Они установили принцип, согласно которому только глупый консерватор судит современность на основе идей прошлого, и только глупый либерал судит прошлое на основе идей современных.

Эта школа видела свое предназначение в том, чтобы сделать отдаленные времена, в особенности средневековье, в ту пору более отдаленное, чем все прочие, доступными и приемлемыми для общества, вышедшего из восемнадцатого столетия. На этом пути встретились трудности; и среди прочих та, что в первом пылу крестовых походов их будущие участники, взявшие крест во имя Господне, приняв благословляющее их на подвиг причастие, остаток дня с жаром посвящали истреблению евреев. Судить их по установившимся нормам, назвать их святотатствующими фанатиками или неистовыми ханжами означало даром уступить победу Вольтеру. Правилom в политике стало хвалить дух и побуждения, когда вы не в состоянии оправдать поступки. Отсюда вытекает, что у нас нет общего кодекса, что наши нравственные понятия постоянно смещаются; и вот вы должны учитывать, во-первых, эпоху, затем, общественный класс, из которого люди вышли, затем влияния окружающей среды, взгляды их школьных наставников и церковных пастырей, движение, которому они бессознательно подчинились и тому подобные вещи, пока, наконец, ответственность за содеянное не потонет в массах, так что в итоге ни один преступник не будет осужден и казнен. Убийца перестает быть преступником, если он не нарушает местного обычая, если соседи не осуждают его, если его навели на мысль об убийстве официальные советчики и подтолкнули к нему законные власти, если он действовал во имя государства или ведомый своей чистой религиозностью, или же выгородил себе убежище благодаря сложности и запутанности закона. Упадок

нравственности был вопиющим; но побуждения были таковы, что они позволяют нам с горестным удовлетворением взирать на тайну греховных жизней. Кодекс, претерпевший значительные изменения со временем и в зависимости от места, предоставит нам полную возможность делать исключения, исподволь и втайне подтасовывать тяжести провинностей и меры наказания, иначе говоря, по-разному осуществлять справедливость в отношении наших друзей и наших врагов.

Это связано с философией, которую Катон приписывал богам. Ибо у нас есть теория, оправдывающая Провидение событием, и превыше всего ставящая успех; согласно ей победа никогда не увенчивает дурное дело, давность и продолжительность сообщают всякому делу законные основания; то, что существует на свете, уже в силу своего существования является правильным и разумным; и поскольку Бог проявляет Свою волю через терпимость к тем или иным действиям людей, то мы и должны во всем подчиниться божественному указанию и жить так, чтобы строить наше будущее, исходя из утвержденного небом образа прошлого. Другая теория, насаждаемая не столь деятельно и уверенно, видит в истории нашего наставника и вожакого, равно поставляющего нам примеры заблуждений, которых следует сторониться, и доблести, которым должно следовать. Эта теория с недоверием относится к обольщениям успехом, и хотя не отвергает всякую надежду на безусловное торжество истины, пусть не благодаря ее собственной притягательности, а лишь благодаря постепенному истощению энергии ложного начала, но все же не сулит прямого вознаграждения за моральную правоту. Она считает канонизацию исторического прошлого более опасной, чем незнание и отрицание его, поскольку именно канонизация может увековечить царство греха и порока и утвердить владычество неправды; именно канонизация усматривает проявление подлинного величия в человеке, способном всю без изъятия жизнь посвятить тому, чтобы в одиночестве преграждать пути современным течениям.

Ранке рассказывает без каких-либо прикрас о том, что Вильгельм III отдал приказ искоренить католический клан, и с презрением отвергает нерешительные оправдания защитников короля. Но когда он доходит до описания смерти и характеристики этого международного освободителя, то Гленкоу забыт, и обвинение в убийстве не обсуждается, как если бы это была подробность, не стоящая упоминания. Прославленный швейцарец Иоганнес Мюллер пишет, что британская конституция взбрела на ум какому-то политическому деятелю — возможно, Галифаксу. Это простодушное заявление едва ли будет одобрено суровыми законниками как правдивое и уместное указание на тот путь, которым — начиная от темных оккультных истоков, не знавших оскверняющего вторжения человеческого разума, — складывалось таинственное вековое напластование наших уложений; однако слова Мюллера и не столь вздорны, как могло бы показаться на первый взгляд. В толпе публицистов той поры, от Гаррингтона до Болингброка, лорд Галифакс возвышался как автор наиболее оригинальных политических трактатов; и во время борьбы вокруг закона о недопущении он предложил систему ограничений, которая по существу, если не по форме, предвосхищала положение королевской власти времени правления поздних представителей Ганноверской династии. Хотя Галифакс и не верил в Папский заговор, он настаивал на том, что невинные обвиняемые должны быть принесены в жертву в угоду массам. Сэр Уильям Темпл пишет: «Мы не согласились только по одному вопросу: о предании суду некоторых священников — по обвинению в том одном, что они являются священниками, как того желала Палата общин; я же считал это совершенно несправедливым. По этому вопросу между лордом Галифаксом и мною состоялся крайне резкий спор в апартаментах лорда Сандерланда, причем Галифакс сказал мне, что если я не дам своего согласия по этому вопросу, столь важному для удовлетворения народа, то он всем будет говорить, что я папист. Спорили мы и по поводу его утверждения, что обходиться с заговором — по тем его пунктам, в которые люди так широко уверовали, — нуж-

но так, как если бы он в самом деле существовал, безотносительно к тому, существует он на деле или нет.» Несмотря на этот обвинение Маколей, предпочитавший Галифакса всем политическим деятелям его эпохи, воздает ему хвалу за милосердие: «Его нелюбовь к крайностям, его склонный к прощению и состраданию характер, который, судя по всему, был ему свойственен от природы, предохранил его от какого бы то ни было участия в худших преступлениях его времени.»

Поскольку, не имея достоверных сведений, мы по необходимости часто ошибаемся в наших суждениях о людях, то представляется более уместным решиться подчас проявить чрезмерную строгость, чем излишнее попустительство, ибо если при этом мы и наносим кому-то обиду или оскорбление, то по крайней мере не за счет отказа от принципа. За безразличием, за индифферентными действиями скрываются, по словам Бейля, скорее дурные, чем хорошие побуждения; причем это неутешительное заключение не оставляет нам надежды и на теологию, ибо Джеймс Мозли поддерживает скептика с другого фланга, выступая во всеоружии Оксфордского движения и его трактатов. «Христианин, — говорит он, — уже в силу самой своей веры не может не подозревать зла, не может позволить себе утратить бдительность... Он видит зло там, где другие не видят; чутье верующего освящено и укрепленно свыше; зрение его наделено сверхъестественной остротой; он обладает духовной проницательностью и чувствами, воспитанными опытом различения... Он владеет доктриной первородного греха, которая заставляет его остерегаться видимости и прелести, в замешательстве не оставлять опасений, внушает ему способность распознавать здесь то, что, как ему известно, пребывает везде.» Согласно известному высказыванию мадам де Сталь, мы прощаем то, что до конца понимаем. Парадокс этот был благо разумно урезан ее потомком герцогом де Бройлем, сказавшим: «Остерегайтесь излишних объяснений, дабы нам не пришлось излишне многое прощать.» История, говорит Фруд, действительно учит, что правда и неправда разделены явственно различимой чертой. Мнения и убеждения не постоянны, ма-

неры и стили меняются, верования возвышаются и рушатся, но нравственный закон вырезан на скрижалях вечности. И если мы еще можем в некоторых местах противиться этому учению Фруда, то мы по существу утрачиваем эту возможность там, где на его сторону становится Голдвин Смит: «Здравая историческая этика оправдывает жестокие меры в жестокие времена, но она никогда не оправдывает самовлюбленной заносчивости, предательства, убийства, лжесвидетельства — ибо именно они делают времена жестокими и страшными. — Справедливость является справедливостью, милосердие — милосердием, доблесть — доблестью, вера — верой, правдивость — правдивостью не со вчерашнего дня, а самого начала.» По словам сэра Томаса Брауна, нравственность неизменна для всех времен; эта же доктрина следующим образом выражена у Берка, умнейшего — когда он верен себе — из наших наставников: «Мои принципы позволяют мне с одинаковым успехом выводить мои суждения о людях и событиях истории и обыденной жизни; эти принципы выведены не из рассмотрения событий и личностей прошлого или настоящего. История — пастырь благоразумия, а не принципов. Принципы истинной политики суть расширенные принципы нравственности, и я ни сейчас, ни когда-либо в будущем не признаю каких бы то ни было иных.»

Каковыми бы ни оказались человеческие представления об этих последних столетиях, таковым, в целом и главным, предстанет и сам человек. Под именем истории эти века несут в себе элементы его философских, религиозных и политических верований. Они задают ему меру, очерчивают его характер; и подобно тому, как похвалы губительны для историков, предпочтения человека нового времени выдают его в большей мере, чем его неприязни. Новая история касается нас столь непосредственно, она в такой мере является для нас вопросом жизни и смерти, что мы не можем не отыскать нашего собственного пути в ней и не посвятить наш дар проникновения в сущность вещей нам же самим. Историки прежних веков, недоступные для нас в их познаниях и талантах, не должны ограничивать нашу мысль. У нас достаточно

сил для того, чтобы быть более непредвзятыми и справедливыми, судить строже и беспристрастнее, чем они; а также и для того, чтобы на обнажающих подноготную прошлого подлинных документах научиться смотреть в прошлое с раскаянием, а в будущее — с твердой надеждой на лучшее. И никогда не упускать из виду, что если мы снижаем наш критерий применительно к истории, мы не сумеем удержать на должной высоте и того критерия, с которым подходим к оценке церкви и государства.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Новая история повествует о том, как последние четыре столетия преобразовали условия средневековой жизни и строй ее мысли. В отличие от нового времени, средние века были эпохой стабильности, непрерывности, инстинктивной эволюции, лишь изредка нарушаемой такими творцами нового как Григорий VII или св. Франциск Ассизский. Не знавшие истории, люди той поры позволяли себе жить по законам неведомого им прошлого; не знавшие естественных наук, они не верили в скрытые силы истории, работающие в направлении более счастливого будущего. Им сопутствовало чувство упадка, и каждое поколение казалось столь уступающим предыдущему в смысле античной мудрости и унаследованных ценностей, что люди черпали утешение в уверенности в близком конце света.

И все же наиболее глубокой и основательной из преобразовавших общество причин является наследие средневековья. Именно в конце тринадцатого столетия была впервые пристально изучена психология совести, и голос совести люди стали отождествлять с тем явственно различимым голосом Бога, который никогда не изменяет и не обманывает и которому надлежит повиноваться всегда, ясен он или темен, несомненен или неуместен. Едва зародившись, это представление тотчас встретило отпор со стороны церкви, рассматри-

вавшей всякое противодействие своей власти как проявление специфической ереси — и потому подавлявшей работу скрытого советчика, неподвластного какой-либо общественной и облеченной явным авторитетом власти. По мере того, как принуждение в обществе отступало, значение совести возвышалось, и территории, оставленные инквизитором, переходили в ведение индивидуальности. Люди стали усматривать меньше оснований в том, чтобы непременно походить друг на друга; начинается энергичное формирование и развитие независимой личности, протекающее под контролем совести. Способность отличать добро от зла перестает быть исключительным верховным правом государства, народа или народного большинства. Когда эта способность была выделена и осознана как божественное свойство человеческой природы, она проявилась в действиях, направленных на ограничение власти за счет утверждения первенства суверенного внутреннего голоса над сплоченной волей и установленным обычаями окружающих. Согласно этой гипотезе душа человеческая понималась как нечто более святое, чем государство, она получает свой свет свыше и заботится о вечном, то есть оказывается вне рамок общих правительственных интересов. Из этого корня возросла свобода совести, а с нею и все прочие свободы, необходимые для удержания власти в границах, делающих невозможными ее посягательства на безусловное главенство этого высочайшего и лучшего из начал в человеке.

Залоги и гарантии, позволявшие двинуться к этой цели, составили существо всей позднейшей истории: на их создание и утверждение были потрачены столетия. И хотя в целом движение это не обращалось вспять, но шло оно медленно, с запаздыванием, и сопровождалось борьбой, исход которой часто был далеко не ясен. Страсть властвовать над другими никогда не перестанет угрожать человечеству; она всегда находит новых и непредвиденных союзников для того, чтобы пополнить свой нескончаемый мартиролог. Поэтому прогресс в новой истории прокладывал себе дорогу посредством революций. Страны одна за другой переживали

кровавые потрясения народной борьбы, направленной на то, чтобы избавиться от прошлого, развернуть течение времени, изменить законы общественного успеха — и спасти мир от господства мертвых. Народы были побуждаемы к этому не столько реальным злом окружающей жизни, сколько притягательностью идеала добра; вдохновлявшие их идеи и порывы были универсальными и отвлеченными. Прогресс потребовал от общества новых жертв в пользу тех, от кого нет отдачи, чье благосостояние не вносит соразмерной доли в служение прогрессу, чье самое существование есть бремя, зло, а в конечном счете и угроза обществу. Средняя продолжительность жизни, этот емкая мера усовершенствования, возросла в результате соединенных усилий основных двигательных начал цивилизации, моральных и материальных, религиозных и научных; она определяется поддержанием жизни увечного ребенка и жертвы несчастного случая, идиотов и сумасшедших, нищих и преступников, старых и беспомощных, излечимых и неизлечимых, — причем за все это общество платит неисчислимыми затратами и лишениями. Это растущее преобладание бескорыстных побуждений, это великодушие по отношению к слабым в общественной жизни сопровождается соответствующим ростом уважения к меньшинствам в политической жизни, каковое составляет самую сущность свободы. И в том, и в другом случае мы имеем приложение одного и того же принципа самоотречения и высшего закона.

Если взять продолжительные периоды времени, мы различаем успехи морального влияния перед материальным, торжество общих идей, постепенное исправление жизни. Можно убедиться в том, что в целом движение осуществляется от силы и жестокости к согласию и дружескому соединению, к человечности, разумному убеждению и постоянно обращению к общим, простым и самоочевидным принципам. Мы низвергли с трона необходимость в лице голода и страха, распространив свою деятельность из Западной Европы на весь мир, — с тем, чтобы все вносили свой вклад в сокровищницу цивилизации, — и пригласив в товарищеское

совладение завоеваниями этой цивилизации как тех, кто живет в отдаленных краях, так и тех, кто стоит ступенью ниже. Нам следует обратить внимание на многое из того, что не осуществилось и миновало, так же точно как и на действительные проявления прогресса, помогающие строить здание мира, в котором мы живем. Ибо история должна освободить нас не только от чрезмерного влияния других эпох, но и от избыточного влияния нашего времени, вызволить нас из-под тирании среды, из-под давления столба атмосферы, воздухом которой мы дышим. Она вынуждает все исторические силы предстать ее суду и без утайки предъявить содеянное; разворачивая картины иных веков, знакомя с иным строем мысли, она усиливает способность противостоять влиянию современного окружения.

В последнее время, благодаря постоянному развитию приспособляемости и распространению сходных влияний, сгладились различия между людьми, существенно уменьшилась сумма несхожестей, проступающая в международных отношениях. Народами множества стран управляют одни и те же интересы, владеют одни и те же чувства и страсти; их занимают одни и те же проблемы; их классики взаимозаменяемы, их естественно-научные авторитеты едва ли не совпадают, так что они с готовностью объединяются, чтобы совместно проводить исследования или эксперименты. В течение примерно тысячи лет, считая от гибели Римской империи до падения ее восточной преемницы, из рассыпанных по континенту этнических элементов постепенно складывались современные европейские народы. Примерно к 1500 году они достигли той полноты размежевания и отстраненности, что склонны были видеть друг в друге врагов. Древние связи ослабли, папа римский утратил авторитет общепризнанного миротворца; мысль о создании международного кодекса, стоящего выше побуждений народов и власти государей, еще не забрезжила на небосклоне философии. Европе предстояло пройти через период отчуждения, распростершийся между переживавшим изменения старым порядком и еще не явившимся на свет новым.

Новая история начинается под давлением завоеваний Османской империи. Константинополь пал. Предшествовавшая этому попытка договориться о помощи Запада, на условиях объединения латинской и греческой церквей, потерпела неудачу: достигнутое на Флорентийском соборе соглашение между церквами не было ратифицировано, наоборот, вызвало сильнейшее возмущение и такой взрыв негодования, что даже подчинение туркам предстало на некоторое время не столь нестерпимым, как подчинение Риму, — что приблизило катастрофу, ибо такой поворот дела не побуждал западных христиан спешить принести себя в жертву ради своих непримиримых восточных братьев. Обещания помощи, обусловленные принятием Флорентийской унии, были с презрением отвергнуты. Небольшие силы папских и генуэзских наемников разделили судьбу защитников Константинополя, конец которого не смогло бы надолго отвлечь и восстановление единства веры. Уклонившиеся державы исходили в своей нерешительности не только из догматических доводов. Ужас перед латинской нетерпимостью оказался обстоятельством, в наибольшей степени благоприятствовавшим туркам в Восточной Империи, и они тотчас пообещали протекцию и неприкосновенность патриарху и его прелатам. Завоевание всего полуострова и островов растянулось на время жизни целого поколения; наиболее благоразумной политикой было не предпринимать ничего такого, что могло бы уменьшить вытекающие из терпимости преимущества и не возбудить тревогу гонениями. Установленный турками режим предусматривал скорее увеличение числа христиан, чем их обращение, тем самым увеличивая собираемую с них дань как золотом, так и кровью. Янычары набирались среди сыновей христиан; они становились вероотступниками, мало того: не имея ни семьи, ни дома, каковым им служил военный лагерь, ни занятия, за исключением войны, они оказались не только лучшими профессиональными солдатами на земле, но и силой, постоянно готовой свести на нет мирные соглашения и изыскать новые предлоги для войны. Впоследствии по временам случались жестокие и безрассудные

мятежи, всякий раз обнаруживавшие неспособность нецивилизованного племени понять интересы и свойства более развитых в культурном отношении чужеродных подданных. Но сознание свирепой иноземной тирании явилось позже; поначалу же жизнь под турками не означала столь резких перемен, как жизнь под игом итальянских деспотов, и не побуждала новых подданных султана страстно желать освобождения.

После Варненского вероломства 1446 года, когда христиане нарушили только что заключенный в Срегедине договор, стало очевидно, что там, где речь идет об обязательствах, взятых ими на себя по отношению к людям иной религии, доверять им невозможно. Воздерживаться от угнетения и грабежа людей столь свирепо разобщенных, столь полных ненависти, столь неспособных к объединению ради защиты своих очагов и атарей, обнаруживающих такую живейшую готовность домогаться помощи и посредничества язычников в своих внутренних распрях, — представлялось абсурдным лицемерием, граничащим со слабоумием. Несколько имевшихся здесь княжеств — Сербия, Босния, Валахия, Морея и близлежащие острова, — отличавшиеся друг от друга национальным составом и религией, были завоеваны по отдельности, и не предприняли ничего для совместной защиты. В Эпире держался Скандербег, вернувшийся из ислама и турецкой службы на родину и под сень Рима. В течение многих лет, с помощью поставок из Апулии, берега которой его часовые на мысе Лингетта могли различать в часы восхода, он победоносно противостоял туркам, сознавая, что его страна исчезнет вместе с ним. Янош Хуньяди защищал христианство на венгерской границе столь успешно, что доставшаяся его сыну монархия противостояла напору целых семьдесят лет. В то время как передовые силы турок стояли на Дунае, Мехмет захватил Отранто, и во всей Италии до самых Альп не было силы, способной противостоять ему. Вскоре после этого он умер, Отранто был потерян, и операция по его захвату не возобновлялась. Подданные султана были народом солдат, а не мореплавателей. В своих морских операциях они

полагались на моряков Эгейского моря, в большинстве своем христиан; так, для переправки своей армии через Геллеспонт они наняли корабли генуэзцев.

Мехмету наследовал Баязет, при котором Европа получила временную передышку. Его брат, опасный претендент на престол, ибо власть переходила к тому из наследников, кто оставался в живых, бежал в христианские страны, где был задержан в качестве заложника рыцарями ордена св. Иоанна, а затем папой, — без надежды быть когда-либо выкупленным. Султан платил за то, чтобы он оставался в неволе.

Долгие годы турки были заняты на Востоке. Селим завоевал Сирию и часть Персии. Он завоевал Аравию и получил из рук шерифа Мекки титул халифа и покровителя этой мусульманской святыни. Он завоевал Египет, где принял на себя прерогативы имама, который был не более чем тенью в Каире, но в Константинополе сделался носителем верховной власти и непререкаемого авторитета в исламском мире. Наконец, Сулейман Великолепный, собрав воедино силы левантских стран, обратился против врага, закрывавшего собою ворота в страны цивилизованной Европы. Взяв Белград, он начал в 1526 году кампанию, увенчавшую собою турецкую историю. В битве при Мохаче Венгрия утратила свою независимость. Князь Трансильвании склонился перед турками с готовностью принять власть из их рук; с той поры обширная долина Дуная сделалась для них полем брани вплоть до эпохи Собеского и Евгения¹. Но законным наследником короля Владислава, павшего при Мохаче, был Фердинанд, единственный брат Карла V; поэтому Венгрия, значительная часть которой тогда принадлежала богемской короне, отошла в те же руки и в качестве древнего владения Габсбургов стала частью мощной Австрийской монархии, простиравшейся от Адриатики до отдаленной Сарматской равнины, — так что победа Сулеймана поставила его лицом к лицу с первой державой, способной остановить его продвижение. Тур-

¹ т. е. принца Евгения Савойского, — прим. переводчика

ки были отражены под Веной в 1529 году и на Мальте в 1564 году. Этим был положен предел их завоеваниям в Западной Европе; а после Лепанто в 1571 году они расширяли свои владения только за счет приобретений в Польше и Московии. Они все еще обладали почти неограниченными возможностями; все морское побережье — от Катара², включая всю окружность Понта Эвксинского и вплоть до Атлантики, — принадлежало магометанам; Средиземное море лишь на одну четверть не было внутренним турецким озером. Должно было пройти еще немало времени, прежде чем турки поняли, что им не суждено владычествовать в западном мире, как они владычествовали в восточном.

В то время как эта грозная туча нависла над Адриатикой и Дунаем, а страны, лежащие в пределах досягаемости турецкой сабли, находились под угрозой уничтожения, западные народы были заняты поспешным укреплением своего единства и сосредоточением власти. В результате супружества Фердинанда и Изабеллы и последовавшего за ним покорения Гранады; в результате того, что во власти царственной четы оказалось вновь открытое полушарие, — Испания впервые выдвинулась в число великих держав; с другой стороны, Франция, изгнав со своей территории Англию, заведя у себя постоянную армию, захватила обширные пограничные провинции, сокрушила центробежные силы феодализма — и явилась на исторической сцене в качестве значительно более устрашающей и воинственной силы, чем прежде. Эти вновь образовавшиеся державы предвещали опасность, и вот в каком направлении: их подъем ощущался не столько в сравнении с Англией или Португалией, сколько с Италией. Англия при Тюдорах достигла внутреннего успокоения; что касается Португалии, то она уже опережала все европейские страны по части океанской торговли. Но Италия была раздробленной, миролюбивой и бедной гражданскими доблестями, сделавшими неприступной и неуязвимой Швейцарию; сверх

² на Аравийском полуострове, — прим. переводчика

того, она изобиловала вожаделенными роскошествами цивилизации, была неистощимой сокровищницей большинства тех вещей, которые столь остро требовались в соседних странах и которых больше взять было негде. Лучшие писатели, ученые и учителя, самые совершенные художники, талантливейшие военачальники, сухопутные и морские, наиболее прозорливые исследователи таинства государственной власти из числа известных до той поры и с тех пор не превзойденные, весь ошеломляющий блеск Возрождения, все плоды целого столетия прогресса были представлены в этой стране, готовые стать добычей мощной державы, способной поставить их себе на службу ради своей выгоды.

Было очевидным, что эти недавно усилившиеся страны, продолжавшие подвигаться вперед как в единении, так и в сосредоточении своих бьющих через край сил, не могут не посягнуть на страны в политическом отношении упадочные и ослабленные. Вмешательство в итальянские дела не вытекало из государственных интересов и не должно было быть политикой Франции, границы которой всюду, кроме северо-запада, положены самой природой. Здесь страна была открыта; отсюда неприятельская территория подступала к столице, — поэтому естественной представлялась экспансия в направлении Антверпена, Льежа или Страсбурга. Но Франция была приглашена в Италию, и там ей был обещан теплый прием, ибо после поражения 1462 года притязания анжуйской династии на Неаполь перешли к французскому королю. Арагонская династия, хоть и сумела успешно отразить натиск претендента, не была законной на неаполитанском престоле и сверх того оказалась перед необходимостью бороться за свое существование против восставших баронов. Восстание было подавлено, недовольные неаполитанцы отправились в изгнание и оказались во Франции; здесь они уверяли Карла VIII, что его ожидает легкий триумф, пожелай он только протянуть руку за знаками величия, по праву принадлежащими наследнику дома Анжу. С изгнанниками оказался делла Ровере, наиболее влиятельный из итальянских кардиналов, племянник бывшего папы и сам впоследствии на

столетия прославившийся понтифик. Во всеоружии тайн конклава, он настаивал на том, что Александр VI должен быть смещен, поскольку заплатил за свое избрание деньгами и ценностями, причем известно, сколько; и что приобретенная таким образом духовная должность *ipso facto*¹ вакантна.

Вмешательство Франции, предвозвещенное страстным красноречием Савонаролы, приветствовала и Флоренция, ко времени перехода власти из рук прославленного Лоренцо к его менее способному сыну уставшая от правления Медичи. Правитель Милана Лодовико Сфорца также был в числе тех, кто побуждал Францию к вмешательству: с Неаполем у него были семейные счеты. Его отец, удачливейший из кондотьеров, который получил власть над Миланом благодаря жеманности на представительнице семейства Висконти, известен своим высказыванием: «Боже, убереги меня от друзей, а от врагов я и сам уберегусь.» Поскольку герцоги Орлеанские тоже происходили из семьи Висконти, Лодовико надеялся привлечь Францию заманчивой перспективой овладеть Неаполем.

В сентябре 1494 года Карл VIII, во главе армии, отвечавшей его непосредственной задаче, вторгся в Италию через альпийское поселение Мон-Женевр. Его солдат, все еще облаченных в средневековые латы, можно видеть на картинах мастеров Ренессанса. За ними следовала артиллерия, новейший вид оружия, которому в следующем поколении предстояло смести прочь закованное в броню рыцарство. Репутация французской пехоты была не слишком высока. Однако швейцарцы приобрели в своих войнах с Бургундией славу лучших в Европе пехотинцев. Боевые порядки их копейщиков, атаковавшие сплоченной массой, отличались слабой маневренностью, но неизменно побеждали во многих итальянских сражениях; в целом швейцарцы считались превосходнейшими солдатами, пока не выяснилось, что они готовы за вознаграждение служить любой стране, но отказываются сражаться против своих соотечественников. Под Павией, одна-

¹ в силу самого факта (лат.), — прим. переводчика

нако, они потерпели жестокое поражение от испанцев, и их слава пошла на убыль. Это были немцы, ненавидевшие Австрию; их верность золотым лилиям — один из постоянных факторов французской истории. Швейцарская гвардия исчезла из Франции вместе с белым знаменем в июле 1830 года.

В начале 1495 года Карл достиг Неаполя, не встретив сопротивления, но и ничего не завершив — даже не возвестив по пути, во Флоренции и в Риме, хозяином которых он на некоторое время сделался, истинной цели своего похода. Освобождение Константинополя неизбежно приходило на ум каждому предприимчивому властителю южной Италии. Эта страна была аванпостом Европы против Востока, христианства против ислама, естественным местом встречи крестоносцев, базой снабжения армии, наконец, тылом для отрядов, нуждающихся в перевооружении и пополнении рядов. Царствовавший султан не был, подобно своему отцу, непобедимым воином; в отличие от своего преемника Селима, он не господствовал над всем Востоком; ему, кроме того, связывал руки самый факт существования его брата, которого Карл, покидая Рим, взял с собою для какой-то невыясненной последующей службы, но которого вскоре утратил.

Карл VIII не был взращен опытом великих дел — и принял титул короля иерусалимского в знак взятой на себя миссии крестоносца. Но он назвался еще и королем Сицилии на правах представителя дома Анжу; между тем Сицилия отнюдь не была заброшенной и никому не нужной территорией: остров принадлежал королю Арагона, самому ловкому, осмотрительному и способному из европейских монархов. Перед отправлением в Италию Карл вошел с ним в сношения, и Фердинанд, в благодарность за уступки в исправлении границы, обязался по Барселонскому договору не предпринимать против Франции враждебных действий, пользуясь отсутствием соседа. Быстрый, неожиданный и полный успех французского оружия в Италии подорвал самую основу этого соглашения. Укрепившемуся на юге Карлу было теперь совсем не трудно стать полновластным хозяином Рима, Флоренции и всей Италии до ее северной оконечности,

откуда уже виден лев Святого Марка. Столь громадное и внезапное превосходство представляло серьезную опасность. На протяжении всего похода успехам французов сопутствовала скрытая ревность Испании. Владения католических королей расширялись; их империя с не вполне очерченными границами, на деле уже превосходившая площадью Римскую, вздымалась из-за Атлантики. Простой учет развития событий подводил к мысли, что от Фердинанда можно было ожидать притязаний на Неаполь. И вот теперь, когда беспомощность неаполитанцев обнаружилась, стало ясно, что он просчитался, позволив Франции занять земли, которые он сам мог захватить с еще большей легкостью, переплыв Мессинский пролив. Фердинанд присоединил свой голос к тем итальянцам на севере, которые выступили за изгнание захватчика, и его посланник Фонсека разорвал Барселонский договор перед лицом французского короля.

После коронации в кафедральном соборе, оставив гарнизоны в своих крепостях, Карл во главе небольшой армии отбыл во Францию. Перевалив через Апеннины в Ломбардию, он встретился у Форново с превосходящими силами противника, выставленные в основном Венецией, и должен был с боем прокладывать себе путь. Спустя две недели после его ухода из Неаполя испанцы под предводительством Гонсало де Кордова высадились в Калабрии, в качестве подкрепления свергнутому королю. Династия, павшая в результате прихода французов, вернула себе престол, и к моменту смерти Карла, последовавшей в 1498 году, в его руках не оставалось ничего из его легких и бесславных завоеваний в Италии.

Преемник Карла, Людовик XII, был герцогом Орлеанским, то есть происходил из семейства Висконти, и он тотчас вознамерился предъявить свои права на Милан. В борьбе против своего соперника из рода Сфорца он вступил в союз с Венецией и папой Александром; а чтобы иметь возможность жениться на вдовствующей королеве и сохранить для короны ее наследственное владение — герцогство Бретань — добился расторжения своего первого, бездетного, брака. Ле-

гата, доставившего из Рима необходимые документы, благодарный король пожаловал княжеским достоинством, невестой почти королевского ранга и армией для отвоевания утраченных церковью владений в центральной Италии. Ибо этот легат был никто иной как кардинал Валенсии, ставший с той поры герцогом Валенсинуа, но гораздо лучше известный в истории по именем Цезаря Борджиа. Богатая Ломбардская равнина, сад Италии, была завоевана с той же легкостью, что и Неаполь по время первого похода. Сфорца сказал венецианцам: «Я стал /для них/ обедом, вы будете ужином», и отправился в Альпы набирать швейцарцев. В 1500 году, под Новарой¹, наемники предали его, и он кончил свои дни во французской тюрьме. На своем пути домой с арены предательства швейцарцы увенчали свою погубленную репутацию тем, что захватили Беллинцону в долине реки Тичино, которая так и осталась одним из их кантонов.

Людовик, бесспорный хозяин Милана и Генуи, уверенный в союзнической поддержке Рима и Венеции, находился в лучшем, чем его предшественник, положении для возобновления притязаний на неаполитанский престол. Но теперь за спиной Фредерика Неаполитанского стоял король Арагона и Сицилии Фердинанд, и представлялось маловероятным, чтобы он позволил без борьбы выдворить с престола короля, за которого сражался. Поэтому когда Фердинанд предложил Людовику изгнать Фредерика и разделить его королевство, это предложение было встречено с живейшей благосклонностью. Поскольку именно Фердинанд недавно вернул неаполитанскому монарху его престол, это означало ведение дел между христианскими народами теми же методами, которые вошли в норму и почитались справедливыми в обращении с неверующими и без колебания применялись такими видными деятелями эпохи, как Альбукерке и Кортес. Фредерик искал помощи у султана, и этот преступный акт был выставлен в качестве оправдания действий хищников. Папа утвердил раздел, а поскольку ему принадлежало право

¹ в Пьемонте, — прим. переводчика

даровать неаполитанскую корону, то он и отрешил Фредерика от власти на основании этого представленного союзниками довода. Изысканная многозначительность происходившего подчеркивалась тем фактом, что папа сам в недалеком прошлом призывал турок вторгнуться в Италию, теперь же усмотрел в таком приглашении основание для того, чтобы лишить монарха его наследственного престола. В 1501 году французы и испанцы оккупировали причитавшиеся им по договору земли и повздорили при дележе добычи. Поначалу «великий капитан» Гонсало был оттеснен к Барлетте на заливе Адриатического моря, но к концу 1503 года он одержал решительную победу, после чего разбитые французы под предводительством Байяра отступили с берегов Гарильяно к берегам По. Неаполь сохранил зависимость от Испании на протяжении всей новой истории.

Вторжение иностранных армий и новые политические комбинации, нарушая прежнее равновесие между итальянскими государствами, обрекали слабейших властителей на уничтожение; при этом уже имелись силы, почти достаточные для того, чтобы под руководством талантливого вождя реорганизовать беспорядочный центр Италии, где никогда не существовало сильного правительства. Едва только французы ушли в Милан, эту возможность увидел и оценил Цезарь Борджиа, в чьих страшных руках стареющий папа был податлив, как глина. Сестра кондотьера только что стала герцогиней Феррары, граничившей с той по существу беззащитной областью, власти над которой он домогался, тогда как земли французского короля, его союзника и покровителя, простирались до Адды и По. Никогда столь благоприятствующие властолюбию качества не соединялись в подобном человеке. Ибо дарования Цезаря были поистине имперского масштаба. Он был одинаково бесстрашен перед лицом трудностей, опасностей и последствий совершаемого; не имея ни тени предпочтения в выборе между добром и злом, он мог с холодным бесстрашием взвешивать, лучше ли сохранить жизнь тому или иному человеку или же перерезать ему глотку. Он никогда не брался за то, чего не мог выпол-

нить, и его быстрые успехи пробуждали в нем жажду новых — но лишь в пределах осуществимого. Он был отвратителен Венеции, но один венецианец, наблюдавший его молниеносное восхождение, задается в своем тайном дневнике вопросом, не является ли этот никогда не ошибающийся интриган назначенным судьбою избавителем. Он был ужасом Флоренции, и, однако же, секретарь флорентийской синьории, которому в критические часы кондотьер поведал некоторые свои мысли, писал о нем, как люди впоследствии писали о Наполеоне, и воздвиг ему памятник, втайне пленяющий воображение половины политических деятелей на земле.

Соединяя в себе функции приближенного французского короля и папского кондотьера, Борджиа начал с того, что вернул к жизни дремавшую власть в Риме, где младшие по иерархической лестнице осуществляли управление от имени старших. В результате там, где недавно множество деспотов вели непрерывную борьбу не за достижение тех или иных политических целей, но за свое существование, возникло единое государство, простиравшееся от моря до моря, от римской Кампаньи до солончаков дельты По, под началом папского князя и гонфалоньера, наделенного как полномочиями защищать святейший престол, так и властью держать его под контролем. Вслед за менее сильными вассалами, Рим, в свой черед, должен был стать областью, зависимой от царствующего дома Борджиа, причем сложившаяся система могла просуществовать не дольше, чем задумавший и воплотивший ее в жизнь человек. Лоренцо Медичи сказал как-то, что из всего, что он создал, переживут его одни лишь здания; таково было общее настроение среди мирян той эпохи, которые, в отличие от духовенства, не верили вещам неизменным и прочным и не предполагали, что общественные установления, поначалу скромные, незаметные и небыстро развивающиеся, выживут и пригодятся в последующие эпохи.

Затеянное Цезарем грандиозное предприятие не было ни задумано, ни ограничено Ватиканом. Он служил как папе, так и королю, и его союз с французами подразумевал нечто большее, нежели восстановление Романьи. Флоренция, взяв

его на службу, тем самым сделалась его данницей. Болонья откупилась от него баснословными деньгами. Венеция внесла его имя в прославленный список имен своей высшей знати. Никто не имел представления о том, когда и где иссякнут его честолюбие и его возможности, каким образом его изобретательный гений обратит себе на пользу соперничество интервентов, какую роль в своей игре он отведет императору и туркам. Эпоха мелкой местной тирании отошла в прошлое с появлением единого для всей страны, над всеми прочими возвысившегося тирана, который вовсе не обещал быть хуже двадцати его предшественников уже потому, что даже если за ним числилось и не меньше преступлений, они не казались вовсе бесполезными для народа, ибо были основательно продуманы и совершены во имя приобретения власти — признанной и узаконенной цели политики в стране, где закон и право определялись результатом борьбы. Цезарь не был лишен популярности; его подданные сохраняли верность ему и тогда, когда удача изменила кондотьеру. Смерть Александра и поражение французов на юге внезапно оборвали его деятельность осенью 1503 года. Делла Ровере, кардинал Винкула, чей титул происходил от церкви Св. Петра-в-узилище, непоколебимый враг семьи Борджиа, стал папой Юлием II. Уже вскоре после восшествия на престол он оказался достаточно силен, чтобы выпроводить Цезаря из страны, чем тотчас воспользовались венецианцы, при дурных предзнаменованиях для республики вторгшиеся в Романью и оккупировавшие остатки многочисленных завоеваний Цезаря.

Прежде Юлий выступил против Александра на том основании, что тот недостойн быть папой; через непродолжительное время по восшествии Юлия на престол выяснилось, что речь здесь шла не о личной враждебности, но о полной и решительной перемене в идеологии и политике. Перемена эта выразилась не в религиозной реформе или в покровительстве учености, а прежде всего во взглядах на территориальную политику. Цезарь воссоздал к услугам папы герцогство Романью; согласно представлениям Юлия, теперь оно должно было быть надежно закреплено за святейшим пре-

столом — вместе со всеми другими землями, которые можно было востребовать и получить на основании закона, с помощью дипломатии или войны. Представители семейства Борджиа добились власти оружием, и Юлий не мог позволить себе оказаться ниже их и тем испортить всю свою карьеру. Он должен был взяться за меч; но, в отличие от них, собирался сделать это во имя непосредственных интересов церкви. Он сверг завоевателя не для того, чтобы завоеванные земли вернули себе самостоятельность или отошли к Венеции, но для того, чтобы и он сам, и его преемники распространили свою власть на всю Италию, а через нее — на весь мир. На этом основании он и учредил земную власть пап, просуществовавшую три столетия. Ревнивый муниципальный дух средних веков привел к раздроблению общества; разрушить эти традиции разобщения и вновь составить из осколков большие общины возможно лишь посредством применения силы. Борджиа показал осуществимость этой задачи, — а также и то, что папа не должен доверять ни одному победоносному кондотьеру, будь он хоть его родным сыном. Поэтому Юлий решил лично командовать своей армией и сражаться во главе своих войск. Отпустивший длинную белую бороду, облаченный в латы, гордо скачущий под неприятельским огнем на своем боевом коне, папа являл собою живописнейшую романтическую фигуру своего времени.

Венецианцев, с помощью флота галер надежно державших в своих руках побережья, было непросто заставить уйти из захваченных ими городов. Центр тяжести интересов этой по преимуществу морской и торговой державы лежал так далеко на востоке, что однажды возникла даже мысль перенести столицу с берегов лагун на берега Босфора. Когда рост могущества турок начал наносить урон торговле венецианцев и всерьез угрожать их колониальной империи, граждане решили извлечь все мыслимые преимущества из раздробленности Италии и стать континентальной державой. Решению благоприятствовала небезопасность и неопеченность жизни под гнетом мелких владетельных князей, делавшая для их подданных весьма заманчивой перспективу

перейти под власть уравновешенного и осмотрительного правительства, три тысячи кораблей которого господствовали на морях под христианским флагом. Отказываясь от принципа, согласно которому они воздерживались от проникновения вглубь материков, венецианцы ставили власть выше процветания, а интересы государства — выше безопасности тысячи патрицианских домов. Всюду, где начиналось волнение, рыбу в мутной воде ловила Венеция. Вдоль всего восточного берега, от склонов Альп к перевалам, служившим торговыми путями в Северную Европу и дальше, оттесняя Милан и Неаполь, патриарха Аквилеи и герцога Феррары, императора и папу, — всюду Королева Адриатики простирала свою дальновидную власть. Именно в период правления героя Байрона дожа Фоскари венецианцев осенило, что их миссия может заключаться в смещении слабых и беспомощных правительств на полуострове и в замене их венецианской администрацией; их знаменитый политик и историк Парута полагал, что им по силам осуществить то, что уже сделал Рим. Далеко идущие планы венецианцев не были секретом для их соседей, и те, кого граждане морской республики под всеми благовидными предложениями успели ограбить, дожидались часа возмездия.

Воспользовавшись советом Макиавелли, Юлий без труда создал лигу из врагов республики. Поскольку в интересы империи, Франции и Испании не входило излишне раздражать Венецию, усиливая друг друга, венецианцы вообразили, что смогут спокойно остаться при своем, позволив зависимым городам самим выяснять отношения с врагом. Падуя победоносно выстояла против Максимилиана, но в битве при Аньяделло поле боя осталось за французами, и в том же 1509 году, в Индийском океане, сражаясь под турецким полумесяцем против португальского флота, венецианцы потерпели поражение и утратили свои восточные рынки. Вскоре они взяли реванш. Достигнув своей цели — подняв Францию против Венеции в числе прочих участников составившейся в Камбре лиги — Юлий затем соединился с венецианцами для того, чтобы изгнать французов из Милана. Уже имея за

плечами два успеха, то есть отвоевав папские владения и сломив мощь Венеции, он успел и в этом третьем своем предприятии по восстановлению Италии, ибо опирался на помощь венецианцев и швейцарцев. Французы потерпели поражение от испанцев в сражении при Равенне и от швейцарцев при Новаре, после чего оставили Милан.

Людовик XII поклялся отомстить папе и, заручившись поддержкой императора, созвал в Пизе собор, на который съехалась меньшая часть кардиналов. Юлий ответил на этот выпад, созвав всеобщий собор в Латеранском дворце в Риме, первый со времени великого реформаторского собора; он еще заседал, когда в 1513 году Юлий умер. Как в Пизе, так и в Риме каждый из соборов рассматривался как эпизод в большой политической игре; ни там, ни тут не было сделано серьезной попытки залечить застарелые и признанные раны церкви. Действия Латеранского собора привели к распространению мнения, что главнейшие болезни были известны, но лекарство было отвергнуто, так что реформ, которые могли бы помочь религии, не следует более ожидать от церкви или государства. Юлий умер, не успев выгнать варваров, как он обещал. Французы были выдворены, но испанцы держались непоколебимо и по-прежнему оставались опорой святейшего престола. Неаполитанская корона была пожалована Фердинанду Арагонскому, и эта чудеснейшая из областей Европы навсегда привязала Испанию к Ватикану.

Если итальянский проект Юлия остался осуществленным лишь наполовину, то его римский проект был полностью завершен; перемежающийся сюзеренитет средневековья уступил место действительному суверенитету папы над половиной Центральной Италии, где обыкновенно царило безвластие; причем власть мирская была положена на основание столь прочное, что святейший престол сумел вынести надвигавшееся умаление его духовной власти. Весь блеск, присущий придворной жизни нового времени, кардиналы из правящих домов Медичи, Эсте, Фарнезе, Гонзага вокруг папского престола, церемониальная пышность государства, по существу являющегося королевством, приемы во дворцах,

возведенных гением Браманте и Микеланджело, послы и савонники держав, венценосные главы княжеских фамилий, — все это превращало Рим в притягательный центр аристократического общества. В качестве столицы абсолютной монархии, подобной другим, Рим стал ассоциироваться с принципами, которым в средние века он противостоял своим духовным и мирским оружием. Значение произошедшей перемены вполне выяснилось, когда по заключенному в Болонье конкордату Лев X уступил Франциску I право назначать епископов и осуществлять надзор за французской церковью. Ибо по восшествии своем на престол Франциск послал в Италию войска, одержавшие победу при Мариньяно, вследствие чего Франция опять овладела Миланом и прилегающими землями, тем самым уничтожив последнее из достижений Юлия II.

Наконец, предстояло еще развернуться решающей борьбе за освободившийся имперский престол. Фердинанда Арагонского не было в живых, и Неаполь перешел под власть составившей отныне нераздельное целое Испании. Рим твердо стоял за то, что Испания не должна слиться с империей, и в конечном итоге об это непоколебимое требование разбилась сильнейшая императорская династия. Как раз незадолго перед этим в Германии началась Реформация, и Лев хотел, чтобы преемником Максимилиана был выбран один из светских князей-курфюрстов. Политическая ситуация вынуждала папу предпочитать кандидатуру Фридриха Саксонского, который оказывал покровительство Лютеру. Состоявшееся в 1519 году избрание Карла было посягательством на равновесия власти; такой поворот дел был непривычен для средних веков, по постепенно начал заявлять о себе в эти дни. Франция, в прошлом не сумевшая отстоять Неаполь против испанцев, теперь оказалась перед необходимостью защищать Ломбардию против Испании, поддержанной Германией и Нидерландами. В течение четырех лет Франциск вел эту неравную борьбу, несмотря даже на то, что самый могущественный из его вассалов, Бурбон, привел врага к самым воротам Марселя. Решительная битва долгой итальянской войны произошла в июне 1525 года при Павии, где Франциск был

взят в плен — и вынужден был покупать свое освобождение ценой жесточайших жертв.

Последовавшие за тем годы были не более чем очередной фазой в покорении Италии, но они памятли в иной связи. Ибо триумф под Павией сделал подавление лютеран осуществимой политической задачей. Крестьянская война ослабила их положение; император мог теперь привести в исполнение императорский Вормсский эдикт, а в Германии были люди, страстно желавшие этого. Карл выставил условием освобождения своего пленника его участие в уничтожении еретиков; Франциск тотчас изъявил полную готовность осуществить это лично и взять на себя половину расходов. Император решился поверить французскому королю на слово, ибо узнал, что папа возглавил против него мощную коалицию. Следуя совету лучшего из своих придворных, носивших духовный сан, начальника своей канцелярии Джибберти, папа Климент собирался еще раз подняться на борьбу, — пока цепи не окончательно скованы, и пока сам он, как тогда говорили, не превратился в испанского капеллана. Война, говорил папе Джибберти, ведется не за власть или территории, но за избавление Италии от постоянного рабства; такого рода убеждениями ему удалось на некоторое время поставить папу во главе нации. Климент заключил в Коньяке договор с врагами императора, освободил Франциска от его клятвы соблюдать Мадридский договор и попытался склонить к измене павийского победителя Пескару, посулив ему неаполитанский престол.

Все это заставило Карла обратить свой меч против Рима. Он поклялся, что ради мести рискнет всеми своими коронами, и обратился за помощью к Германии, в том числе к лютеранам. Скажите им, писал император, что они требуются против турок. Они поймут, о каких турках речь. Они поняли это так хорошо, что ландскнехты являлись под его знамена, имея в запасе серебряные веревки для шей кардиналов, тогда как золотой шнурок был припасен для папы. Карл выпустил подробный манифест против Климента, составленный Вальдесом, одним из немногих испанских лютеран; посвященные

ожидали, что расправа будет короткой. Франциск с самого начала намеревался нарушить слово и не выполнять ни одного из условий, вредных или унижительных для Франции; но он опоздал. Внушительная германская армия перевалила через Альпы и в Ломбардии соединилась с испанцами. Впоследствии отмечалось, что испанцы были наиболее одержимы жаждой мщения, однако бросок на Рим предприняли немцы; Бурбон, под предлогом бедности отказавшийся им платить, провел их через апеннинские перевалы, по пути низвергнув с флорентийского престола династию Медичи. Рим был взят практически без всякого сопротивления. Климент заперся в замке Сан-Анджело, город был отдан на безжалостное разграбление, с прелатов требовали выкупа, о местонахождении всех сокровищ дознались с помощью пыток. Этот ужасный май 1527 года положил конец гордости, надежде и радости языческого возрождения; тяжелый, покаянный дух нисшел на общество, обещая свести Реформацию к реформе, уклониться от изменения доктрины изменением нравственности. Разграбление Рима, сказал кардинал Кастан, было справедливым наказанием: пострадавшие пострадали заслуженно. Город по праву завоевания принадлежал теперь императору, который мог распорядиться им по своему усмотрению, и римляне не возражали против того, чтобы он стал столицей Карла. Некоторые говорили, что упразднение светской власти пап обеспечит мир между державами, другие считали, что следствием станет появление патриарха во Франции, если не в Англии. С истощением последних усилий Франции, с переходом на сторону императора /адмирала/ Дориа, прихватившего с собою Геную, этот оплот французского влияния в Италии, — цепь операций, начатая неаполитанским походом 1494 года, завершилась в 1530 году осадой Флоренции. Карл заключил в Камбре мир с Францией, в Барселоне — с папой, и принял императорскую корону в Болонье.

Так завершились Итальянские войны, определившие главные черты политики нового времени. Конфликтам, не прекращавшимся на протяжении целого поколения; разбро-

ду и насилиям, тянувшимся еще дольше, — был положен конец. Италия получила от своего хозяина передышку, и на столетия поставила свои дарования ему на службу. Пескара, Ферранте Гонзага, Филиберт Эмануэль, Спинола были теми, кто сделал Испанию первой военной державой. Непобедимые легионы Пармы, которые создали Бельгию, вырвали Антверпен у голландцев, освободили Париж от Генриха VI и ожидали сигналов Армады, чтобы приступить к покорению Англии, были составлены из итальянской пехоты. Исключая лишь Венецию, сильную своим флотом и непреступными лагунами, Испания с этих пор господствовала во всей Италии, а благодаря обладанию обеими Сицилиями сделалась передовым оплотом против турок.

Италия утратила какое-либо участие в общей политике и сохранила свое влияние в Европе лишь через Рим. Конклав и возведение в кардинальское достоинство для пополнения конклава превратили Рим в постоянную школу переговоров и интриг, готовившую лучших в мире дипломатов. Благодаря покровительству Габсбургов папство пользовалось неизменной властью, гарантированной против любых пришельцев, не требовавшей оборонительных сил, разорительных и бесприбыльных расходов, вообще ничего, что рассеяло бы иллюзию идеального правительства, руководимого духовным христианским пастырем. Понтификаты неуклонно удлиняются: в шестнадцатом веке они составляют в среднем шесть лет, в семнадцатом — восемь, в восемнадцатом — двенадцать, в девятнадцатом — шестнадцать лет; благодаря оригинальному и характерному институту, известному под именем непотизма, выбор премьер-министров осуществлялся не из коллегии духовной аристократии, а из членов семьи правящего папы, что обеспечивало династические вливания в случайности выборной монархии.

Триумф и коронавание императора Карла V, когда он встал над всем тем, что Европа узрела со времен Карла Великого, возродили древнюю веру в верховную власть, возвеличенную ее союзом с духовенством и добытую ценою независимости народов и равновесия сил между ними. Подвиги Ма-

геллана и Кортеса, перспектива опрокидывания всех обычаев и традиций, навевали неосуществленные грезы о необъятной Испании, вызвали к жизни фантом всемирной империи. Жажда неограниченной власти стала с тех пор господствующей силой в Европе, ибо она есть идея, с которой освященная международным и религиозными признанием монархия никогда не расстается по своей воле. Отныне на целые столетия эта идея постоянно утверждалась как необходимость и право. Это было высочайшим проявлением государства, каким оно представлялось Макиавелли: государства, не терпящего ни равенства, ни пределов своей власти, не связанного никакими обязанностями по отношению к человеку и народу; государства, покоящегося на уничтожении, оправдывающего и освящающего решительно все, что ведет к еще большему сосредоточению власти.

Этот закон нового времени, утверждающий, что власть тяготеет к неограниченной экспансии и не остановится ни перед какими барьерами внутри страны или и за рубежом, пока не столкнется с превосходящей ее силой, определил ритмический строй последующей истории. Ни племенные пристрастия, ни религиозная приверженность, ни политическая теория никогда в такой мере не служили побудительным началом к нескончаемой и универсальной враждебности и межнациональной борьбе. Оказавшиеся под угрозой интересы должны были сплотиться для создания самоуправления, для защиты религиозной терпимости и прав человека. Именно благодаря соединенным усилиям слабых, предпринятым под давлением необходимости противостоять господству силы и постоянству порока, в ходе быстрых перемен, разворачивавшихся на фоне медленного прогресса четырех столетий новой истории, свобода была сначала сохранена, закреплена и обеспечена, затем разнесена по свету, а в конце концов и понята народами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

От переводчика:

ТЕМА И МЕТОД

Актон возвращает нам несколько важных представлений, которые пыталась изгнать из нашего сознания советская власть. Среди них первое место принадлежит идее нравственности в политике. Человеку, воспитанному при советской власти, пусть даже и в борьбе с ней, непросто бывает поверить, что политические вожди могут руководствоваться совестью, исходить в своих поступках из добрых побуждений, а не из властолюбия, эгоизма и нетерпимости. Как для француза XVIII века, для него политика — «дщерь гордости властолюбивой, обманов и коварства мать». Еще труднее представить себе, что совесть государственного человека не в корне отлична от совести человека рядового. Макиавеллиевское понимание государства буквально пронизывало советскую систему, составляя самую ее сущность. Не чуждо оно и демократическим государствам современности. Отношение к политике как к науке тоже прочно забыто, если не вовсе ново для нас. Между тем если конституция — не человеческое установление, не творение разума, но выявленное в ходе столетий борьбы *естественное право*, то она тем самым становится частью природы и полноправным объектом науки. Напоминая это, Актон возвращает нам исторический оптимизм.

Но если темой Актона была нравственность, почти отождествляемая им со свободой, то его методом уяснения истории было красноречие. Историю нельзя пересказать. Путь ее осмысления лежит через восхищение и негодование: через вдохновение. Отсюда отмеченные автором предисловия темноты, вообще часто сопутствующие высокому. Актон не боится высоты, вполне сознавая при этом, что высокое легче всего поддается осмеянию. Для историка обязательно не беспристрастие, пожалуй, и в принципе недостижимое ни в одном серьезном деле, но добросовестное стремление к объективности. Эпитеты в превосходной степени не означают у Актона отхода от этого принципа. Говоря «одареннейший из гибеллинов», он всего лишь направляет на Марсилия луч юпитера, заставляя работать нашу мысль и воображение — и обходясь одной строкой там, где при другом подходе потребовались бы страницы. Это своего рода исторический импрессионизм. Он имеет в Англии давнюю и мощную традицию: восходит к эпохе Просвещения, к лорду Болингброку, собеседнику и едва ли не наставнику Вольтера. Многие мысли Болингброка из его *Писем об изучении и пользе истории* могли бы служить прекрасным эпиграфом к Актону; например: «...хотя раннее и должным образом поставленное обучение истории чрезвычайно содействует ограждению нашего ума от смехотворного пристрастия к собственной стране и порочного предубеждения против других, тем не менее те же самые занятия порождают в нас чувство особой привязанности к своему отечеству».

Актон нуждается в подробном и основательном комментарии, снабдить которым настоящее издание не представлялось возможным. Весь справочный аппарат исчерпывается указателем имен и незначительным числом постраничных примечаний. Заинтересованный читатель сам проделает за нас работу, осуществить которую нам помешали жесткие сроки подготовки книги.

Очерки, составившие настоящий том, отобраны изданием из посмертных книг Актона *Лекции по новой истории*

(1906) и *История свободы и другие очерки* (1907), описанных автором *Предисловия в Избранной библиографии* (см. стр. 29).

Я приношу мою искреннюю благодарность А. Бабичу, взявшему на себя труд критического прочтения верстки книги и сверки текстов с оригиналом. Мною принято большинство предложенных им семантических исправлений и учтены многие стилистические замечания. Я сердечно благодарю Бориса Хазанова, который проверил и исправил выдержки из латинских, немецких и французских авторов (особенно обильные в двух очерках, в итоге в книгу не вошедших). Стихотворная выдержка из Мильтона на странице 54 дана в академическом переводе Арк. Штейнберга, а выдержка из не установленного автора на странице 52 — в редакции, предложенной А. Бабичем.

29 марта 1992,
Боремвуд,
Хартфордшир.

Юрий Колкер

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август, Октавиан 64
Блаженный Августин 36, 61, 62, 71
Августы, династия 59
Адамс, Джон Куинси 35
Александр II, царь 92
Александр VI, папа 183, 185, 189
Альбукерке 186
св. Амвросий 92
Анжу, династия 182, 184
св. Антоний 158
Антонины, династия 59
Аристотель 53, 58, 62
Артевельде 76
св. Афанасий 92
Ашока 62
Ашшер, архиепископ 26, 87
- Бабеф 16, 106
Байар 187
Бакстер 93
Барийон 146
Батлер 154
Бах 118
Баязет 180
Бейль 171
Беллармин 83
Бентам 36, 163
Берк, Эдмунд 58, 84, 93, 96, 167, 172, 108, 130
св. Бернард 84
Бернет 156
Болингброк 170
Болл, сэр Роберт 164
Бонапарты, династия 50, 156
Борджиа, семейство 188, 189, 190
Борджиа, Цезарь 186, 187, 188, 189, 190
Боссюэ 26, 87, 131, 132
Браманте 193
Браун, Томас 172
Бройль, де 171
Брузэм 163
Брюс, Роберт 73
Брюсы, дом 73
- Бурбон 193, 195
Бурбоны, династия 24, 86, 107
Бухольц 156
Буше 84
Бьюкенен, Джордж 83, 84
Бэкон, сэр Николас 82
Бэкон, Роджер 84, 167
Бэкон, Френсис 74, 87
Бэр 164
- Валенсинуа, герцог (Цезарь Борджиа) 186
Валентиниан, император 92
Вальдес 194
Вашингтон, Джордж 35, 160
Виктория, королева 10
Вильгельм Завоеватель 70
Вильгельм Оранский 90
Вильгельм III 89, 170
Вине 19, 36, 154
Винкула, кардинал 189
Висконти, семейство 183, 185
Виттельсбахи, династия 107
Владислав (II Ягеллон) 180
Вобан, Себастьян Ле Претр де, маршал 88
Вольтер 168
- Габсбурги, династия 107, 180, 196
Галифакс 93, 94, 170, 171
Гамильтон 15, 58
Гардинер 147
Гаррингтон 90, 170
Генрих II, 82
Генрих III, 79, 83, 84
Генрих V 82
Генрих VI 196
Генрих VIII 80
Генрих IV (Наваррский) 84
Георг I 94
Георг III 96
Гераклит Эфесский 57, 58
Геррес 116...
Гиббсон 156, 163

- Гизо 35
 Гильдебрандт 84
 Гитлер, Адольф 20
 Гладстон, 10, 11
 Гленкоу 170
 Гоббс 87
 Гогенцоллерны, династия 108
 Гонзага, дом 192
 Гонзага, Ферранте 196
 Гонсало де Кордова 185, 187
 Гракхи, братья 35
 Григорий VII, папа 74, 174
 Грот 163
 Гроций 36, 85, 86
 Гус 103
 Гэллам 146
- Данте 158, 163, 121
 Дарвин 164
 Декарт 87
 Делла-Ровере 182, 189
 Дефо 94, 95, 166
 Джефферсон 155
 Джиберти, Датарио 194
 Джон из Солсбери 26, 84
 Диана, антич. мифол. 57
 Дизраэли, (Биконсфилд) 11
 Диоген Синопский 52, 158
 Диоклетиан 49, 68
 Доллинггер, фон 9
 Дориа, адмирал 195
- Евгений, принц Савойский 180
 Елизавета Английская 79, 82
- Жерсон, аббат 26
- Зенон 18, 51, 61
- Изабелла I Католичка 181
 Иоанн Безземельный 73
 Иоаннн Златоуст 65
- Кальвин 80, 81, 83, 160
 Камберленд 85
 Кампана, мадам де 156
 Кампанелла 102
 Кампаньи, Дино 158
 Кант 154
- Карл I 87, 91
 Карл II 24, 34, 94, 130
 Карл V 79, 80, 180, 193, 194 195, 196
 Карл VIII 182, 183, 184, 185
 Карл IX 89
 Карл X 35
 Карл Альберт 120
 Карл Великий 70, 127, 196
 Карлейль 151
 Карнеад 51
 Карно 160
 Кастелар 149
 Катон 169
 Каетан (Cajetan), кардинал 195
 Климент, папа 194, 195
 Колумб 142
 Кольбер 152
 Коммин 77, 161
 Конт 151, 165
 Константин Великий 64, 67, 68, 92
 Коперник 142
 Кортес 186, 196
 Критий 52
 Кромвель 26, 90, 148
 Кулаж, Фюстель де 153
 Куллен 163
 Кэмден, лорд 96
 Кювье 165
- Лайтфут 158
 Ланфрэй 160
 Лафайет 97
 Лев X, папа 193
 Лейбниц 156
 Либих 163
 Ликург 36, 60
 Лилборн 90
 Линней 163
 Лингар 146
 Лод, архиепископ 92
 Локк 75, 93, 95
 Лоренцо Медичи 183, 188
 Луи-Филипп 35, 97
 Людовик XI 161
 Людовик XII 185, 186, 192
 Людовик XIII 79
 Людовик XIV 26, 87, 88, 90, 94
 Людовик XVI 98
 Людовик Святой 73

- Лютер 27, 80, 103, 146, 160, 167, 193
 Магеллан 196
 Мадзини 100, 106, 121, 122
 Мазарини 147
 Макиавелли 78, 79, 83, 89, 142, 162, 191, 197
 Макинтош, Джеймс 18, 100, 156
 Маколей 93, 152, 156, 171
 Максимилиан I, император 191, 193
 Мальборо 93
 Манин, Даниэле 122
 Мантейффель 118
 Марат 99
 Мариана 84
 Марий 59
 Мария, великая княгиня 12
 Мария Стюарт 79
 Марсель 76
 Марсилиус Падуанский 26, 74, 75
 Медичи 183, 192, 195
 Мелито 65
 Меттерних 118, 120
 Мехмет (II Фатих), султан 179, 180
 Микеланджело 193
 Милль, Джон Стюарт 23, 121, 163
 Мильтон 54, 91, 93
 Минье 156
 Мишле 156, 162
 Мозли, Джеймс 171
 Моммзен 152
 Монро 97
 Монтескье 75, 95, 141
 Монфор, Симон де 74
 Мор, Томас 84, 92, 99, 102
 Муратори 156
 Местр де, 116
 Мюллер, Иоганнес 116, 170
 Наполеон I 8, 26, 27, 50, 115, 117, 119, 120, 144, 160, 166
 Наполеон III 50, 88
 Нерва 50
 Нессельроде, К. В., граф 116
 Нибур 26, 100, 162
 Нокс, Джон 82, 83, 84
 Ньюмен, кардинал 151, 164
 Нюджент 120
 Опат 65
 Оранский, принц 83, 94
 Ориген 65
 Орлеанский дом 183, 185
 Оутс, Тит 93, 165-166
 Паллада, антич. мифол. 42
 Парута 191
 Паскаль 87
 Периандр 26
 Перикл 22, 43, 44, 45, 158
 Пескара 196
 Пий IX 9
 Пил (Пиль), сэръ Роберт 149
 Питт, Уильям младший 166
 Пифагор 26, 56
 Плантагенетов дом 73
 Платон 22, 53, 55, 58, 63, 102
 Плотин 102
 Пойнет 83
 Пококк 156
 Помпей 59
 Протагор 57
 Прудон 16
 Пуффендорф 85
 Ранке, Леопольд фон 27, 147, 148, 151, 160, 161, 162, 163, 170
 Рассел, лорд 93
 Ренан 160
 Риенци 76
 Ришелье 88, 146
 Роже 160
 Роупс 160
 Рошер 58
 Руссо 99, 106, 131, 167
 Савонарола 183
 Сальвиан 71
 Сандерланд, лорд 170
 Сараса 111, 154
 Селим I 180, 184
 Сенека 19, 36, 61, 63
 Сидней, Элджернон 93
 Сили, Джон 140
 Скандербег 179
 Скотт, Вальтер 161
 Смит, Адам 98, 167
 Смит, Голдвин

- Собеский 180
 Солон 26, 40, 41, 45, 60, 70
 Сократ 47, 53, 58, 62, 65, 142
 Сосий 92
 Софокл 63
 Социн 150
 Спиноза 87
 Спинола 196
 Стабб 158
 Сталин 20
 Сталь, мадам де 171
 Стратфорд 91
 Стюарты 87, 90, 94, 97, 149
 Сулейман Великолепный 180
 Сфорца, Лодовико 183, 186
 Сфорца, род 185
 Сципион 51
 Сьейес 99, 155
- Талейран 117
 Тацит 50, 55
 Темпл (Темпл), Уильям 170
 Тертуллиан 65
 Тиймон 156
 Токвиль 19, 36, 58
 Трейчке 152
 Тьер 152, 156
 Тэйлор 93
 Тюдоры 181
- Уэлсли 166
 Уиклиф 103
- Фарадей 164
 Фарнезе 192
 Фенелон 26, 88, 99, 106, 144
 Феогнид 39
 Фердинанд I
 Фердинанд II
 Фердинанд Арагонский 180, 181, 184, 185, 186, 192, 193
 Филипп II 83, 89
 Филон Александрийский 61, 62, 63
 Фокс 95
 Фома Аквинский 26, 74, 75, 84, 85
 Фонсека 185
 Фоскари, дож 191
 Франц Иосиф 122
 Франциск Ассизский 174
- Франциск I 82, 193, 194
 Фредерик Неаполитанский 186, 187
 Фрере 156
 Фридрих Великий 50, 146
 Фридрих Саксонский 193
 Фруд 151, 171, 172
 Фукидид 47
- Хантер, Джон 164
 Хлодвиг 70, 113
 Хорт 158
 Хрисипп 11, 51
 Хукер 84
 Хуньяди, Янош 179
- Цвингли 80, 81
 Цезари, род 68
 Цезарь, Кай Юлий 49, 50, 113
 Цицерон 19, 36, 51, 61, 71
- Чатем, граф 95, 96
 Чедвик 5, 28, 30
- Шатобриан 26
 Шаррон 85
 Шафтсбери 93
 Шварценберг
 Швеглер 158
 Штейн 116
 Шюке 160
- Эддисон 94
 Эдуард I 96
 Эдуард II 75
 Эдуард III 73
 Эмануэль, Филиберт 196
 Энгенский, герцог 87
 Эпикур 53
 Эразм Роттердамский 92, 96, 142
 Эсте, дом 192
- Юлиан 160
 Юлий II, папа 189, 190, 191, 192, 193
 Юм 95
 Юстиниан 68
- Яков II 90, 94, 146
 Янош Хуньяди 179